
Алексей Кукушкин
Курьер для богов

Алексей Кукушкин

Курьер для богов

«Автор»
2026

Кукушкин А. Н.

Курьер для богов / А. Н. Кукушкин — «Автор», 2026

Что, если боги существуют и питаются нашим вниманием?Марк, двадцати семи лет, разносит заказы по Москве. Однажды замечает: его тень опаздывает. На фото в галерее за его спиной возникает розовая тень с трещинами, которой там быть не должно, а над мужчиной, обвинившим его в краже кошелька, склоняется медно-красная тень — её видит только он.Марк не сумасшедший. Он просто первый, кто заметил.Боги никуда не уходили. Они кормятся страхами, ставками и чужими жизнями. Один курьер решает их морить голодом, но главный враг не Зевс, а медиамагнат Виктор Корн, который восемь лет кормит тень умершей дочери и готов на всё, чтобы Марк молчал.Вместе с Леной, видящей тени через камеру, заикой Славиком, умеющим ждать, и Кассандрой, которой никто не верит, Марк идёт туда, откуда не все возвращаются.Боги не ушли. Они учатся быть людьми, а курьер учится быть проводником.

© Кукушкин А. Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. «ТЕНЬ ОПАЗДЫВАЕТ» 5
ГЛАВА 2. «СЧЁТ ОТКРЫТ» 16
ГЛАВА 3. «ЦЕЛЬ» 26
ГЛАВА 4. «ТЕПЛО» 40
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Курьер для богов

Глава 1. «ТЕНЬ ОПАЗДЫВАЕТ»

Утро в шесть сорок семь, это не время суток, а состояние души, причём души, мягко говоря, не самой жизнерадостной. Марк стоял на крыше девятиэтажки, жевал остывший бутерброд с колбасой и думал о том, что колбаса в этом бутерброде была вчера, а сегодня она уже не колбаса, а какое-то недоразумение.

Крыша пахла мокрым бетоном и чужими проблемами, а где-то внизу, в квартире на седьмом этаже, бабушка варила картошку, и запах этот поднимался вверх, цеплялся за перила, за антенны, за синюю куртку Марка, с молнией, которая заедала на самом интересном месте. Парень дёрнул и молнию заело, дернул сильнее и заело совсем.

— Ну чего ты, — сказал Марк молнии. — Работай давай.

Молния не работала. Марк плюнул на неё мысленно и решил, что сегодня будет ходить с расстёгнутым воротом. Пусть все думают, что он стиляга, ему, в сущности, всё равно.

Рюкзак стоял рядом, набитый чужими обедами, в нём дремали три заказа: первый — шаурма на Ленина, второй — кофе с собой на Пушкина, и третий — пицца на Гагарина. Пицца, по мнению Марка, была лишняя. Пицца в шесть утра, это не завтрак, это крик о помощи. Но клиент написал в комментариях: «Срочно! Не будите жену!»

Марк не стал уточнять, почему жена не должна просыпаться от пиццы, но мысленно поставил мысленно галочку: «Странные люди. Много странных людей».

Он достал телефон, экран моргнул, показал время — 6:48 и три заказа, которые ждали, чтобы их доставили. Марк вздохнул. Вдох получился длинный, с привкусом остывшего чая из термоса. Чай был тёплый, но не горячий, как и всё в этой жизни, подумал Марк. Ничто не бывает достаточно горячим, чтобы согреть по-настоящему.

— Кто-то же должен разносить заказы, пока боги скучают, — сказал Марк вслух.

Он усмехнулся собственной шутке. Боги. Хороши боги. Если они и существуют, то наверняка спят или пьют, а может делают вид, что не замечают, как Марк таскает пиццу в шесть утра.

Марк сделал последний глоток чая, закрутил термос и сунул его в рюкзак. Рюкзак крякнул или Марку так показалось. Он закинул рюкзак на спину, поправил лямки и пошёл к краю крыши.

Край крыши был местом философским. Отсюда виден был двор, мусорные баки, соседний дом с облезшей штукатуркой и ворона на антенне. Ворона сидела неподвижно, как памятник самой себе, и смотрела. Марк посмотрел на ворону. Ворона посмотрела на Марка.

— Чего уставилась? — спросил Марк.

Ворона не ответила. Она продолжала смотреть, но как-то странно, но не на Марка, а как бы сквозь него или, может быть, на то, что было за ним. Марк обернулся. За ним находилась лишь стена дома и его собственная тень, которая тянулась по бетону длинная и тощая, как сам Марк после трёх месяцев на курьерской диете.

Марк пожал плечами и повернулся обратно к вороне. Ворона всё ещё смотрела. Марк махнул рукой.

— Ладно, — сказал он. — Смотреть не запрещается.

И тут он заметил, что тень его, та самая, тощая и длинная — повернула голову.

Не Марк, он, как раз, стоял неподвижно, смотрел на ворону, а тень — повернула голову! На долю секунды, чуть позже, чем должен был бы повернуть он сам, как будто тень задумалась, прежде чем повторить его движение.

Марк моргнул, потом ещё раз. Посмотрел на тень внимательнее. Она стояла смирно, повторяла его позу, не отставала ни на шаг. Всё как положено.

— Глюк, — сказал Марк вслух. — Просто глюк, просто не выспался.

Он шагнул в сторону. Тень шагнула вместе с ним. Синхронно, как и положено тени.

Марк усмехнулся и подумал: "Ну вот, нервы. Работа. Колбаса вчера, а не сегодня. Всё сходится".

Он повернулся к лестнице, собираясь уходить и в этот момент ворона каркнула. Не громко, не грозно, а просто каркнула, как ворона и каркает. Но каркнула так, что Марк невольно обернулся.

Ворона смотрела не на него, а на его тень. Причём, смотрела так, будто тень была не тенью, а чем-то другим, чем-то, что заслуживает внимания, что стоит того, чтобы на него смотреть.

— Ну ты даёшь, — сказал Марк вороне. — Тень тебе интереснее меня.

Ворона не ответила, а сидела неподвижно, чёрная с синим отливом на перьях, и смотрела. Марк постоял ещё секунду, потом махнул рукой.

— Ладно, — сказал он. — Смотрите, на что хотите, а мне пора.

Марк пошёл к лестнице. Тень пошла за ним. Синхронно, как и положено, но когда Марк спустился на лестничную клетку и захлопнул дверь, ворона взлетела с антенны и полетела не за ним.

Она полетела за его тенью, которая осталась на крыше или, может быть, ушла вместе с Марком, но чуть-чуть не синхронно.

Ворона летела низко, почти касаясь крыльями бетона, и смотрела вниз, на тень, которая скользила по стенам, по асфальту, по мусорным бакам и если бы кто-то видел эту картину: ворону, летящую за тенью, он бы, наверное, подумал, что сошёл с ума, но никто не видел, кроме нас.

Площадь у университета в семь двадцать три утра, доложу я вам, зрелище, достойное кисти живописца, если бы живописец этот не был хронически голоден и не тащил на спине три чужих обеда.

Марк шёл по площади длинным шагом курьера, который знает, если идти достаточно быстро, можно обогнать собственную усталость. Не получалось, но Марк старался. Впереди маячил заказ — шаурма на Ленина, и шаурма эта, по законам курьерской физики, должна вот-вот превратиться из шаурмы в деньги.

Площадь как площадь. Фонтан не работал, то ли сезон не тот, то ли вода кончилась, то ли фонтан просто устал. Студенты спешили на первые пары с выражением лиц, которое можно описать одним словом: «Зачем».

Бабушка у входа в университет продавала пирожки с картошкой, и запах этих пирожков был, пожалуй, единственным честным запахом на всей площади, а в центре площади стоял он - Зевс.

Не настоящий Зевс, разумеется, настоящий Зевс, если верить знаниям марка, полученным из мифов древней Греции, на площадях не стоит, он, скорее всего, где-нибудь в офисе сидит, ставки раскидывает, но бронзовый Зевс стоял.

Бронзовый, в смысле из такого сплава, который в народе называли «бронза», хотя настоящие металлурги при этом слове морщились. Ростом Зевс был с двухэтажный дом, с поднятой рукой, в которой когда-то, вероятно, держал молнию. Молния отвалилась ещё в прошлом веке, и теперь Зевс держал пустую руку с видом человека, который забыл, зачем её поднял, но опускать уже неловко.

Марк прошёл бы мимо, если бы не привычка. Она штука сильная и заставляет человека фотографировать закаты, которые он не будет смотреть, есть еду, которую он не хочет, и делать селфи со статуями, которые ему, в сущности, безразличны.

— Ну, Зевс, — сказал Марк, останавливаясь. — Улыбнись, будь позитивнее.

Зевс не улыбнулся. Зевс вообще не улыбался у него было лицо человека, который только что узнал, что его молния пошла на переплавку, но Марк всё равно поднял телефон.

Он поднял телефон привычным жестом человека, который делает это тридцать раз на дню. Экран моргнул, сфокусировался, и Марк нажал кнопку.

Щёлк.

Марк опустил телефон, собираясь идти дальше. Шаурма сама себя не доставит. Но тут ему подумалось, а посмотреть-то? Вдруг получилось хорошо? Вдруг Зевс на фото улыбается? Вдруг это будет первый в истории случай, когда бронзовый Зевс улыбается, и этот случай запечатлел именно он, Марк, курьер с синей курткой и заедающей молнией?

Марк посмотрел на фото и замер.

На фото был он сам, в синей куртке, с рюкзаком, на фоне бронзового Зевса. Всё как положено. Композиция, свет, всё, но тень от Зевса на фото не там, где должна быть.

Солнце стояло справа. Тень обязана падать влево, а она падала — прямо, на Марка и на этой тени, на той, что падала прямо, хотя должна падать влево, — на этой тени присутствовала улыбка.

Не злая и не добрая, а просто улыбка, как у человека, который знает что-то такое, чего не знают другие, как у кота, который съел канарейку и теперь смотрит на хозяйку с невинным видом.

Марк моргнул.

Потом протёр экран рукавом, хоть куртка пыльная, и на экране остался развод, но Марку было не до эстетики. Он посмотрел снова.

Тень улыбалась.

— Ну нет, — сказал Марк. — Так не бывает.

Он ткнул пальцем в кнопку «удалить». Экран спросил: «Удалить фотографию?» Марк ткнул «да». Фотография исчезла. Экран показал галерею — пустую, в смысле, без этой фотографии.

Марк выдохнул.

— Глюк, — сказал он вслух. — Просто глюк. Экран грязный. Солнце не так упало. Мозг устал. Всё сходится.

Он сунул телефон в карман и пошёл дальше. Шаурма ждала. Клиент ждал. Деньги ждали. Всё ждало, кроме нормальной работы телефона.

— Молодой человек, а можно вас попросить? — раздался голос сбоку.

Марк обернулся. Рядом стояла студентка, лет двадцати, с рюкзаком, в котором, судя по всему, было всё, кроме учебников, и с телефоном в руке. Телефон она держала на вытянутой руке, как держат его все, кто собирается сделать селфи со статуей.

— А? — сказал Марк.

— Вы не могли бы меня сфоткать? — спросила студентка. — Со статуей, я сама не достаю, а палку для селфи забыла.

— А селфи-палка зачем? — спросил Марк.

Студентка посмотрела на него так, будто он только что спросил, зачем нужна вода.

— Для селфи, — сказала она. — Чтобы лицо было, а не только нос.

— А, — сказал Марк. — Понятно, давай сюда.

Он взял у неё телефон, поднял на вытянутой руке, навёл на студентку и Зевса. Студентка встала в клевую позу, одну руку на бедро, другую в волосы, припухлые губки чуть приоткрыты, как у человека, который вот-вот скажет что-то мудрое, но забыл что.

Щёлк.

Марк посмотрел на фото. Нормальное фото. Студентка очень красивая и эффектная, он бы такой вдул, Зевс бронзовый, тень от Зевса падает влево, как и положено при солнце справа. Никаких улыбок и аномалий, всё как у людей.

— Спасибо! — сказала студентка, забирая телефон. — Классно получилось!

— Пожалуйста, — сказал Марк.

Он смотрел, как студентка убегает, довольная собой и фотографией. Потом посмотрел на Зевса, тот стоял, держал пустую руку, не улыбался. Тень от Зевса падала влево и всё как положено.

— Вот видишь, — сказал Марк Зевсу. — У других всё нормально, значит, это у меня глюк.

Зевс не ответил, он вообще не разговаривал, по крайней мере, в присутствии Марка.

Курьер пошёл дальше. Шаурма ждала, он уже почти дошёл до угла, когда телефон в кармане завибрировал.

Марк достал телефон, пришло уведомление. Он открыл и остановился посреди тротуара!

В галерее было фото, то самое, со статуей, с ним и с тенью, которая улыбалась.

Марк посмотрел вокруг. Люди шли, обходя его, как обходят столб. Студентки больше не было. Зевс стоял далеко, за фонтаном, и не улыбался. Тень от Зевса падала влево, а на фото тень улыбалась!

Марк стоял посреди тротуара, и телефон в его руке был холодный, как будто он держал не телефон, а кусок льда. Он посмотрел на фото ещё раз. Тень улыбалась. Он посмотрел на Зевса, тот не улыбался. Он посмотрел на свою тень. Его тень стояла смирно, повторяла его позу, не отставала ни на шаг.

— Глюк, — сказал Марк. — Просто глюк.

Но фото во второй раз, не удалил.

Потому что во второй раз было уже не страшно, а просто интересно, а любопытство, как известно, — это первая ступенька лестницы, которая ведёт чёрт знает куда, но об этом Марк ещё не знал. Он стоял посреди тротуара, смотрел на улыбающуюся тень и думал о том, что шаурма, наверное, уже остывает.

Шаурма остывала. Клиент и деньги ждал и, а тень улыбалась.

На карнизе девятого этажа сидел человек.

Человек как человек, если не считать того, что карниз был шириной в полтора кирпича, а человек этот болтал ногами над пропастью с таким видом, будто сидел на диване перед телевизором. Куртка на нём одета синяя, с капюшоном, на котором почему-то были пришиты два маленьких крылышка. То ли мода такая, то ли человек был чудаком, то ли, но об этом позже...

Звали его Гермес. По крайней мере, так было написано на бейджике, который он, видимо, забыл снять после корпоратива. Хотя какой корпоратив в семь тридцать один утра? Вопрос риторический.

Гермес жевал настоящее, красное яблоко, с бочком, повернутым к солнцу, и смотрел вниз. Внизу, во дворе, маленький человек в синей куртке шёл к лестнице. Человек этот шёл быстро, чуть ли не бежал, и рюкзак на нём подпрыгивал, как будто тоже спешил.

— Опоздает, — сказал Гермес яблоку.

Яблоко не ответило, они вообще не разговаривают, что, по мнению Гермеса, является их главным недостатком.

Гермес доел яблоко, огрызок сунул в карман — не бросать же вниз, внизу люди ходят, — и достал телефон. Телефон у него был странный: не то чтобы старый, не то чтобы новый, но с какими-то значками, которых в обычных магазинах не продают. Гермес набрал номер.

Гудки. Один. Второй. Третий.

— Аллё, — сказал голос в трубке. Голос был такой, будто человек, которому звонили, только что проснулся, или только что проснулся, или только что — в общем, что-то с ним было не так. На фоне играла музыка. Не громко, но слышно было, как кто-то смеётся, как звенят бокалы, как кто-то — видимо, сам владелец голоса — наливает себе что-то крепкое.

— Дионис, — сказал Гермес. — Ты пьян.

— Я всегда пьян, — ответил Дионис. — Это моё обычное состояние, ты по делу или поболтать?

— По делу, предлагаю ставку.

— А, — сказал Дионис. — Ну давай, на кого сегодня?

Гермес посмотрел вниз. Маленький человек в синей куртке уже спустился с лестницы, теперь он шёл по двору, оглядываясь по сторонам, как человек, который что-то ищет, но не знает, что именно.

— Ставлю на Афину, — сказал Гермес.

Дионис захохотал. Смех у него был такой, что Гермесу пришлось отставить телефон подальше от уха.

— Афину! — сказал Дионис, когда смог говорить. — Ну ты даёшь, старик. Афина — это скучно. Афина — это мудрость, стратегия, справедливость. Кто на это ставит? Никто. Все ставят на Ареса или на меня.

— На тебя ставят те, кто хочет проиграть, — сказал Гермес.

— О, — сказал Дионис. — Это комплимент или оскорбление?

— Это констатация факта. Ладно, давай твою ставку.

Дионис налил себе что-то. Гермес слышал, как плещется жидкость, как звенит лёд — хотя какой лёд в семь утра? Вопрос риторический.

— Я ставлю на парня внизу, — сказал Дионис. — В синей куртке.

Гермес посмотрел вниз. Маленький человек садился на старый, ржавый велосипед, с корзиной, в которой лежал чужой обед.

— На курьера? — сказал Гермес.

— На курьера, — подтвердил Дионис. — Люди выигрывают, когда не знают правил.

Гермес помолчал. Он смотрел, как курьер крутит педали, как рюкзак на нём подпрыгивает, как курьер оглядывается на ворону, которая — Гермес прищурился — которая летит за его тенью.

— Знаешь что, — сказал Гермес. — Я тоже ставлю на него.

— Серьёзно? — Дионис перестал смеяться. — На курьера?

— На курьера, — сказал Гермес. — Люди выигрывают, когда не знают правил, но иногда выигрывают те, кто начинает подозревать.

— О, — сказал Дионис. — Это интересно.

— Это не интересно, — сказал Гермес. — Это опасно.

— Всё опасное интересно, — сказал Дионис. — Ты же знаешь.

Гермес не ответил. Он смотрел, как курьер уезжает, как ворона летит за его тенью, как тень — Гермес прищурился ещё сильнее — как тень местами отстаёт от курьера на долю секунды.

— Договорились, — сказал Гермес. — Ставка принята.

— Договорились, — сказал Дионис. — Только одно условие.

— Какое?

— Не подсказывай ему, пусть сам догадается.

— Я и не собирался, — сказал Гермес. — Я же бог радости, это моя профессия.

— Профессия, — фыркнул Дионис. — Ты ещё скажи, что ты бог справедливости.

— Не скажу, — сказал Гермес. — Справедливость это к Афине, я — вестник, приношу новости, а хорошие или плохие, уже не моя забота.

— Ты циник, — сказал Дионис.

— Я реалист, — сказал Гермес.

Они помолчали, на фоне у Диониса какие то девушки пели или плакали, разобрать было сложно.

— Ладно, — сказал Гермес. — Я пошёл.

— Куда?

— Следить.

— За курьером?

— За тенью курьера, — сказал Гермес. — Поверь мне, это гораздо интереснее.

Дионис захохотал снова.

— Ты неисправим, — сказал он.

— Я бог, — сказал Гермес. — Мы все неисправимы.

Он повесил трубку, сунул телефон в карман, тот самый, где лежал огрызок яблока, и посмотрел вниз ещё раз. Курьер уже уехал. Двор был пуст. Только ворона кружила над мусорными баками, как будто искала что-то.

— Интересно, — сказал Гермес вслух. — Сколько ты протянешь?

Он встал на карнизе, на том самом, шириной в полтора кирпича, и потянулся, как человек, который только что проснулся, и...

Исчез.

Не улетел. Не спрыгнул. Не растворился в воздухе, как это делают в фильмах. Он просто перестал быть, как будто его и не было, будто карниз был пуст всё это время.

Карниз и был сейчас совершенно пуст.

Только ветер играл с крылышками на капюшоне, которого больше не было и где-то внизу, во дворе, маленький человек в синей куртке крутил педали старого велосипеда и не подозревал, что на него только что сделали ставку.

Две ставки.

Два бога.

Один — бог радости.

Другой — бог, который любит яблоки, а может быть, и наоборот, кто их разберёт, боговто.

Двор у университета был тем местом, где время текло иначе, чем на площади. Если на площади время спешило, то во дворе оно, казалось, присело на корточки и задумалось — о чём именно, никто не знал, но выглядело оно при этом так, будто задумалось всерьёз и надолго.

Мусорные баки стояли стройно, как солдаты на параде, который никто не отменял, но и не начинал. Лавочка у подъезда, та самая, на которой когда-то, по легенде, сидел сам Достоевский, хотя Достоевский в этом дворе никогда не был, но легенда, как известно, сильнее фактов, — скрипела под ветром с тем достоинством, с каким скрипят вещи, знающие, что их нельзя заменить.

Марк вошёл во двор быстрым шагом человека, который верит, что если идти достаточно быстро, можно обогнать собственное невезение, не получалось, но Марк старался. Впереди маячил следующий заказ — кофе с собой на Пушкина, и кофе этот, по законам курьерской физики, должен был вот-вот превратиться из кофе в деньги, а деньги, в свою очередь, — в хлеб, в квартплату, в ту самую иллюзию сытой жизни, которую Марк поддерживал с тем упорством, с каким поддерживают огонь в печи, дрова для которой давно кончились.

Но тут Марк увидел кошелёк.

Тот лежал на лавочке — коричневый, кожаный, с потёртыми углами. Лежал он так, будто ждал, что кто-то его поднимет или не поднимет, в зависимости от того, кто подойдёт.

— Ну вот, — сказал Марк кошельку. — Лежишь тут, как искуситель.

Кошелёк не ответил, они вообще не разговаривают, что, по мнению Марка, является их главным достоинством и единственной причиной, по которой их до сих пор не запретили.

Марк нагнулся и поднял тяжелый кошелёк — не в смысле веса, а в смысле содержания. Марк открыл его — быстро, без церемоний, как открывают вещи, которые не предполагают, что их будут открывать дважды.

Внутри были деньги. Много денег. Столько, сколько Марк не зарабатывал за месяц, ещё лежали документы: паспорт, права, какие-то карточки. Внутри имелось фото — мужчина лет сорока, с усами, с лицом человека, который знает, что такое налоги. В портмоне было всё, кроме совести хозяина, которую, видимо, забыли положить.

Марк посмотрел на деньги.

— Может оставить себе? — произнес Марк вслух.

Он сказал это не потому, что собирался оставить, а сказал это потому, что так говорят все, кто находит чужие деньги. Так говорят, чтобы проверить себя. Чтобы убедиться, что ты — не тот, кто оставит.

Марк закрыл кошелёк.

— Ладно проехали, — сказал он. — Ищем хозяина.

Он посмотрел по сторонам. Двор был пуст — если не считать мусорных баков и лавочки, но тут Марк заметил мужчину, который шёл по двору — быстро, нервно, оглядываясь по сторонам. Мужчина одет в дорогом, но помятом пальто, с тем видом, с каким носят вещи, которые слишком долго носили те, кто не мог их выбросить и ещё Марк заметил старушку.

Женщина сидела на другой лавочке — той, что у подъезда. Старушка как обычная бабушка — с платочком, с сумкой, с лицом, на котором было написано всё, что она думает о молодёжи, погоде и правительстве. Старушка вязала или делала вид, что вяжет. Спицы в её руках двигались медленно, с тем ритмом, с каким двигаются вещи, которые знают, что торопиться некуда.

Марк прошёл мимо пожилой дамы. Старушка подняла глаза и посмотрела не на Марка.

Она взглянула и на то, что было за мужчиной в пальто, потому что за мужчиной в пальто — за его спиной, над его плечом — стояла тень.

Тень не такая, как обычные тени. Обычные тени падают от солнца — влево, вправо, вперёд, назад. Эта тень не падала. Она стояла и склонялась над мужчиной в пальто.

Тень чёрная — но не просто чёрная, а чёрная с медным отливом. Она не имела лица — но Марк, если бы посмотрел, почувствовал бы, что тень улыбается.

Марк не посмотрел, а пошёл сразу к мужчине.

Старушка отвела взгляд. Она опустила глаза на вязание и спицы её застучали быстрее.

— Извините, — сказал Марк, подходя к мужчине. — Это ваше?

Марк протянул кошелёк.

Мужчина остановился. Он посмотрел на Марка. Потом на кошелёк. Потом снова на Марка.

— Моё, — сказал мужчина. — Где нашли?

— На лавочке, — сказал Марк. — Вон там.

Он указал на лавочку. Мужчина посмотрел на лавочку. Потом снова на Марка.

Марк крутил экран, отматывая запись назад. И тут — на долю секунды — заметил. В кадре, между пальцами мужчины, мелькнуло что-то тёмное. Не тень от руки. Тень, которая не должна была там быть. Она изогнулась — и исчезла.

Марк моргнул. Провёл пальцем по экрану. Ничего. Только руки, только кошелёк, только серое небо над головой мужчины.

— Вот, — сказал Марк, протягивая телефон. — Смотрите.

Мужчина посмотрел на экран и лицо его изменилось.

— Спасибо, — сказал мужчина. Он быстро взял кошелёк. — Вы даже не представляете, как я...

Он не закончил фразу, потому что в этот момент он открыл кошелёк.

И посчитал деньги.

— А где ещё? — сказал мужчина.

— Что? — сказал Марк.

— Где ещё? — повторил мужчина. Голос его стал другой — не радостный, а острый, как нож, который только что вытащили из ножен и который, в сущности, уже давно перестал быть просто ножом, а стал, чем-то третьим, чем-то, что помнит о крови, но уже не хочет ею быть. — Здесь было триста тысяч! А сейчас сто пятьдесят!

— Что? — сказал Марк. — Я нашёл его так, я не открывал...

— Врёшь! — сказал мужчина. — Ты украл! Я вызову полицию!

Марк стоял и смотрел на мужчину. Мужчина смотрел на Марка. Между ними был кошелёк — коричневый, кожаный, с потёртыми углами.

— Я вернул Вам кошелек, — сказал Марк. — Я нашёл и вернул!

— Врёшь! — повторил мужчина. — В нем было триста тысяч! А сейчас в половину меньше, ровно в половину! Что мне делать! Мне ни на что не хватит!

— Я не брал, — сказал Марк. — Честное слово.

— Честное слово! — фыркнул мужчина. — У курьеров честное слово! Я вызову полицию!

Марк отступил на шаг, не потому что боялся, а потому что так делают, когда на тебя кричит человек, который весит на двадцать килограммов больше и в разы агрессивнее.

Он посмотрел по сторонам. Двор был пуст — если не считать мусорных баков, лавочки и старушки. Старушка вязала. Спицы её стучали так быстро, как будто она вязала не шарф, а спасательный круг.

И тут Марк заметил чужую тень мужчины в пальто — та, что должна падать от солнца, — не там, где должна быть. Солнце стояло справа. Тень обязана, по всем законам физики, падать влево, а она падала — прямо, на Марка, как бы надвигаясь и давя на него.

И на этой тени — на той, что падала прямо, хотя должна падать влево, — на этой тени было что-то, не улыбка, а нечто большее, что говорило: «Я выиграл».

Марк моргнул. Потом посмотрел снова. Тень обычная, падала влево, как и положено.

— Глюк, — сказал Марк вслух.

— Что? — сказал мужчина.

— Ничего, — сказал Марк. — Я вернул кошелёк и не брал деньги.

— Врёшь! — сказал мужчина. — Я вызову полицию!

Он развернулся и пошёл прочь — быстро. Кошелёк он сунул в карман пальто — так суют вещи, которые не хотят показывать никому.

— Постойте, — сказал Марк.

Мужчина остановился. Обернулся. В глазах его горела та смесь злости и страха, которая бывает у людей, когда они понимают, что перегнули палку, но отступать уже поздно.

— Я не крал, — сказал Марк. — Я нашёл и вернул.

— Врёшь! — сказал мужчина. — Тут было триста тысяч!

— А тут сколько? — спросил Марк.

— Сто пятьдесят!

— Значит, столько и было, — сказал Марк. — Я не считал, но мне всё равно.

— А кому не всё равно? — сказал мужчина. — Мне всё равно!

— Тогда вам должно быть всё равно, что я не крал, — сказал Марк.

Мужчина открыл рот. Закрыл. Открыл снова. Видно было, как в его голове проносятся мысли — быстрые, как тараканы на свету, — и ни одна не приводит к правильному выводу.

— Я вызову полицию! — сказал он наконец.

— Вызывайте, — сказал Марк. — Только сначала посмотрите вон туда.

Он указал пальцем на угол двора. Там, на стене дома, висела камера как камера — круглая, чёрная, с красным огоньком, который мигал.

— Камера всё записала, — сказал Марк. — Я нашёл кошелёк на лавочке, поднял, пошёл к вам, портмоне не открывал. Всё заснято на видео.

Мужчина посмотрел на камеру. Камера посмотрела на мужчину. Красный огонёк мигнул, как будто камера сказала: «Ну да, я всё видела и что?»

— Это... это ничего не доказывает, — сказал мужчина, но голос его стал тише.

— Доказывает, — сказал Марк. — У меня телефон с камерой. Я снимал маршрут. Хотите посмотрим?

Марк достал телефон. Мужчина посмотрел на телефон, как смотрят на гранату, которая может взорваться, а может и не взорваться, но рисковать не хочется.

— Не надо, — сказал мужчина.

— Тогда давайте посмотрим на городскую камеру, — сказал Марк. — Я могу написать заявление, что вы меня обвинили в краже. Полиция поднимет записи. Посмотрит, обязательно увидит, что я не крал, а потом посмотрит, что вы меня обвинили и тогда уже вам будет не всё равно.

Мужчина молчал. Во дворе стало тихо. Даже мусорные баки перестали пахнуть — или Марку показалось. Лавочка перестала скрипеть. Даже ветер, который до этого дул, как дул, — вдруг стих, как будто тоже решил послушать.

Из подъезда вышла женщина — та самая, что продавала пирожки на площади, только теперь она работала не на площади, а шла во дворе, и несла сумку с продуктами. Женщина посмотрела на Марка, на мужчину, на камеру, на Марка.

— Что тут у вас? — спросила женщина.

— Ничего, — сказал мужчина быстро. — Мы уже... мы уже разобрались.

— Ага, — сказала женщина. — Разобрались.

Она пристально и внимательно посмотрела на Марка.

— Ты молодец, — сказала она Марку. — Не каждый бы вернулся и отдал.

Марк пожал плечами.

— Да ладно, — сказал он. — Нашёл — верни, так жить проще.

Женщина усмехнулась.

— Проще, — сказала она. — Да, только не все так думают.

Она пошла дальше — к лавочке, где когда-то, по легенде, сидел сам Достоевский. Мужчина в пальто стоял, не двигаясь. Он смотрел на Марка, и в глазах его уже светилась не злость, а что-то другое, то, что бывает у людей, когда они понимают, что были неправы, но признаться не могут.

— Ладно, — сказал мужчина наконец. — Прости может я что попутал? Любовнице отдал часть денег наверное и забыл.

Он сказал это тихо, как говорят, когда хотят, чтобы никто не слышал, но Марк услышал.

— Ничего, — сказал Марк. — С кем не бывает.

Мужчина кивнул. Развернулся. Пошёл прочь — быстро, как человек, который хочет уйти, пока не передумал. Пальто его развевалось на ветру, который снова подул — видимо, решил, что самое интересное закончилось.

Марк стоял, смотрел, как мужчина уходит. Выдохнул. Плечи его, которые до этого были напряжены, расслабились. Руки, которые до этого сжимали телефон, разжались.

— Ну вот, — сказал Марк вслух. — Разобрались.

И тут он опять заметил старушку. Бабушка на лавочке перестала вязать. Она подняла глаза и посмотрела на Марка, в глазах её было что-то — не жалость, не сочувствие, а нечто большее.

Марк посмотрел на старушку. Старушка посмотрела на Марка.

— Бабушка, — сказал Марк. — Вы видели?

Старушка покачала головой.

— Я видела, как ты поднял, — сказала она. — И как он посчитал и как ты не взял.

Марк замер.

— А тень? — спросил он.

Старушка пристально посмотрела на него. Потом — на небо, а потом вновь на Марка.

— Тени, — сказала она, — они разные бывают. Некоторые от солнца, а некоторые появляются от жадности и других пороков, которые нас окружают.

Марк моргнул.

— А эта?

— А эта, — сказала старушка, — точно от жадности.

Она снова застучала спицами. Спицы стучали быстро, как стучат те, кто хочет, чтобы его не переспрашивали.

Женщина на лавочке посмотрела на старушку. Потом на Марка, затем снова на старушку.

— Ты береги себя, — сказала она. — А то тени нынче странные.

Марк моргнул.

— Что?

— Ничего, — сказала женщина. — Я старая, много чего болтаю.

И снова занялась своими продуктами. Марк постоял ещё секунду. Потом посмотрел на телефон — время поджимало. Семь сорок девять. Он опаздывал. Кофе на Пушкина ждал. Клиент ждал. Деньги ждали.

— Ладно, — сказал Марк. — Пора.

Он развернулся, пошёл к лестнице и тут он заметил сову.

Сова сидела на дереве — том самом, что росло посреди двора, между мусорными баками и лавочкой. Сова как сова — серая, с жёлтыми глазами, с перьями, которые топорщились. Ночная птица смотрела на Марка и не моргала.

Марк и сова посмотрели друг на друга.

— Чего уставилась? — спросил Марк.

Сова не ответила. Совы вообще не разговаривают — по крайней мере, в присутствии курьеров с синей курткой. Но смотрела она на Марка так, будто знала о нём что-то, чего не знал сам Марк.

Женщина на лавочке посмотрела на сову. Потом на Марка. Потом снова на сову.

— Совы днём не летают, — сказала она.

— А эта летает, — сказал Марк.

— Ага, — сказала женщина. — Летает, странная птица.

Она замолчала. Посмотрела на Марка долго-долго. Потом кивнула — как будто сама себе что-то подтвердила.

Марк постоял ещё секунду. Потом посмотрел на телефон — время. Семь сорок девять. Он опаздывал. Кофе на Пушкина ждал. Клиент ждал. Деньги ждали.

— Ладно, — сказал Марк. — Пора.

Он развернулся, пошёл к лестнице. Сова на дереве не моргала. Она смотрела, как Марк идёт, как рюкзак на нём подпрыгивает, как тень его скользит по асфальту и если бы кто-то посмотрел очень-очень внимательно — он бы заметил, что сова улыбнулась, не клювом — у сов нет клювов для улыбок, а чем-то другим, что бывает у тех, кто видел что-то хорошее и теперь доволен.

— Впервые за тысячу лет, — сказала сова.

Или это сказала не сова, а та, кто смотрела через сову, та, кого звали Афина, которая тысячу лет не улыбалась, а теперь улыбнулась.

Но Марк не слышал, он шёл к лестнице.

Сова взлетела с дерева — тихо, бесшумно и полетела не в сторону заката, не в сторону леса, не в сторону неба.

Она полетела не за Марком, а за его тенью, которая шла по асфальту — обычная, правильная, падающая влево, но если бы кто-то посмотрел очень-очень внимательно — он бы

заметил, что тень эта местами, на долю секунды, улыбается, а в Москве, как известно, даже тени имеют право на профсоюз, и если ты однажды вернул чужой кошелёк — жди, пока твоя собственная тень начнёт с тобой рассчитываться, потому что честность в этом городе не добродетель, а диагноз, и ставится он однажды, на всю оставшуюся жизнь, с правом на обжалование только у тех, кто тысячу лет не улыбался.

ГЛАВА 2. «СЧЁТ ОТКРЫТ»

Между девятым и десятым этажами того самого дома, где Марк утром жевал остывший бутерброд, существовало помещение, в котором пахло старыми билетами и чернилами. Помещение как помещение, если не считать того, что стены его сделаны из тумана, а потолок отсутствовал, уступая место небу, которое сегодня надело пиджак и пришло на совещание.

Посреди помещения стоял стол, как стол. Дубовый, с царапинами, как у стола, за которым сидят очень давно. За столом сидели три женщины.

Женщины, как женщины, если не считать того, что одна вязала нить, вторая измеряла нить линейкой, а третья точила ножницы.

Первую звали Клото. Она вязала, не шарф и не носок, а простую тоненькую веревочку вытягивающуюся в ниточку. Нить тонкая, золотистая, и уходила куда-то в небо, в то самое, что надело пиджак. Клото вязала спокойно, как вяжут женщины, которые вяжут уже несколько тысячелетий и давно перестала считать переплетения.

Вторую звали Лахесис. Дама измеряла. В руках держала не обычную линейку, а такую, на которой вместо сантиметров были написаны слова: «радость», «печаль», «скука», «восторг».

Лахесис прикладывала линейку к нити, которую вязала Клото, хмурилась и записывала что-то в толстую книгу, в кожаном переплёте, и на корешке было написано: «Счёт».

Третью звали Атропос. Леди точила большие, серебряные ножницы, с лезвиями, которые могли бы перерезать что угодно — нить, верёвку, а может быть, и что-то побольше. Атропос точила нервно, как точат ножницы те, кто очень хочет их применить, но пока не может.

— Так, — сказала Клото, не поднимая глаз от вязания. — Марк, двадцать семь лет, курьер. Последнее действие — возврат кошелька.

— Итог? — спросила Лахесис, прикладывая линейку.

— Афина плюс один, — сказала Клото. — Плутон минус один.

Атропос перестала точить ножницы и посмотрела на Клото.

— Опять Афина, — сказала Атропос. — Вечно Афина. Почему не Арес? Арес был бы интереснее.

— Арес был бы грязно, — сказала Клото. — А у нас правила.

— Правила, — фыркнула Атропос. — Правила придумали те, кто никогда не держал ножницы в руках.

Лахесис отложила линейку, потом посмотрела на Клото.

— А что, если он не остановится? — спросила Лахесис.

— Кто? — спросила Клото.

— Курьер, — сказала Лахесис. — Он же не просто вернул кошелёк. Он показал запись. Он не испугался. Он не обычный. Ему не все равно.

Клото пожала плечами.

— Все они не обычные, — сказала Клото. — Пока не становятся обычными.

— А этот? — спросила Атропос.

Клото посмотрела на нить — на ту, что вязала. Нить была синяя, не ярко-синяя, не тёмно-синяя, а такая, как небо перед дождём. Нить была тонкая, но крепкая и она — светилась. Чуть-чуть. Едва заметно, но светилась.

— Эта нить, — сказала Клото. — Она... тёплая.

Лахесис посмотрела на нить. Атропос посмотрела на нить.

— Нити не бывают тёплыми, — сказала Лахесис.

— А эта бывает, она сейчас такая перед нами, — сказала Клото.

Атропос положила ножницы. Посмотрела на нить долго и внимательно, как смотрят на что-то, что не должны видеть, но видят.

— Долго он протянет? — спросила Атропос.

Клото не ответила сразу. Она смотрела на нить — на синюю, тёплую нить. Потом усмехнулась — сама себе.

— Долго, — сказала Клото. — Дольше, чем вы думаете.

Лахесис открыла книгу, полистала страницы и нашла нужную.

— Смотрите, — сказала Лахесис. — Здесь написано: «Курьер. Обычный», а нить у него не обычная.

— Может, он не курьер? — предположила Атропос.

— Он курьер, — сказала Клото. — Просто не обычный курьер.

— Все они не обычные, — фыркнула Атропос. — Пока не становятся обычными.

— А этот? — спросила Лахесис.

Клото посмотрела на нить, та светилась — чуть-чуть, едва заметно, но светилась.

— Этот, — сказала Клото. — Этот человек особенный.

— Почему? — спросила Атропос.

— Не знаю, — сказала Клото. — Но я чувствую.

Лахесис закрыла книгу и посмотрела на нить.

— Что будем делать? — спросила Лахесис.

— Считать, — сказала Клото. — Мы же мойры, мы всегда считаем.

— А если он изменит всё положение вещей на свете? — спросила Атропос.

— Тогда мы пересчитаем, — сказала Клото. — Мы же мойры, мы и пересчитать можем, что нам стоит?

Атропос взяла ножницы и пристально посмотрела на них и потом отложила.

— Ладно, — сказала Атропос. — Считаем девочки.

И снова начала точить ножницы, а где-то внизу — во дворе, среди мусорных баков и лавочки, — маленький человек в синей куртке шёл пешком, потому что велосипед его украли, и не подозревал, что за ним следят три женщины, которые вяжут, измеряют, точат и что одна из этих женщин только что сказала: «Дольше, чем вы думаете».

Двор у университета в половине восьмого утра — место, где жизнь проснулась, но ещё не решила, чего хочет. Бабушка у подъезда продавала пирожки, покупатели кончились, она смотрела на свой товар взглядом матери, смотрящей на детей, не желающих идти в школу. Пирожки смотрели в ответ тем же взглядом. Взаимное непонимание висело в воздухе запахом жареной картошки.

Чёрный кот с белым пятном на груди в форме вопросительного знака умывался на мусорном баке. Умывался старательно, от чистоты шерсти зависело что-то важное. Коты знают и ведают такие вещи, о которых люди не догадываются.

Марк влетел во двор, рюкзак подпрыгивал на спине, молния на куртке заедала. В голове стучало короткими ударами: велосипед, велосипед, велосипед. Средство мобильности стояло у того самого столба, к которому он пристегнул его, уходя.

Старый, ржавый, с корзиной, в которой пахло шаурмой и чужими обедами, — педаль скрипела, звонок звенел только тогда, когда не звонили, — но это был его велосипед, его свобода, его способ превращать чужие обеды в свои деньги.

Марк завернул за угол и остановился.

Столб стоял. Перерезанная цепь висела — аккуратный срез, без рванины, без сантиментов, срез, которым режут колбасу, режут то, что хотят отрезать быстро. Велосипеда не было. Цепь смотрела в ответ безучастно, взглядом вещи, сделавшей своё дело.

— Ну вот. И это тоже случилось, чего я и боялся.

Марк произнёс это не грустно, произносят те, кто привык, что утро начинается не с кофе, а с неприятностей, с дождя, начинающегося внезапно, хотя по прогнозу должно было быть солнечно. Марк потрогал цепь пальцами — тёплая, не от солнца, солнце сегодня серое, выцвет-

шее, первая полоса вчерашней газеты. Цепь тёплая сама по себе, помнит тепло того, кто её перерезал.

Двор пуст, если не считать бабушки, кота на баке и второго кота на подоконнике первого этажа, смотревшего на первого тем взглядом, каким коллеги смотрят на коллег, делающих вид, что работают. Никто и ничего не видел, не слышал, не знал, куда делся велосипед с ржавой педалью и корзиной, в которой пахло шаурмой, пиццей и чужими обедами.

Марк наклонился — и заметил металлический кружок на асфальте, там, где стояло переднее колесо.

Монета. Медная, круглая, поблёскивающая. Не советская, не царская, не современная. Монета выпущена в стране, которой нет на карте, отчеканена для того, чтобы положить именно здесь, именно сейчас, именно под колесо именно этого велосипеда. Марк поднял её — горячая, не тёплая, а именно горячая, только что доставшаяся из кармана человека с высокой температурой, горячая от чего-то внутреннего, от своей медной сути.

На одной стороне — профиль, не царский, не президентский, лицо человека, знающего что-то, чего не знают другие. Лицо, смотрящее даже тогда, когда на него не смотрят. На другой — надпись на языке, которого он не знал, но понял. Понял тем пониманием, каким понимают слова, слышимые во сне и забываемые при пробуждении.

Надпись говорила: «У каждого есть цена».

Марк сунул монету в карман — в кармане стало тепло, слишком тепло, поселился маленький уголёк, греющий, но не обжигающий. Достал телефон — вибрирует, новый заказ. Кофе на Пушкина, который должен был вот-вот превратиться из кофе в деньги, а теперь превращается из кофе в проблему.

Марк посмотрел на телефон. Потом на пустое место, где стоял велосипед. Потом на монету в кармане — вернее, на карман, потому что монеты видно не было, только тепло. И вдруг он понял — не головой, голова ещё думала о клиенте, о кофе, о том, как бежать пешком через весь город. Понял чем-то другим, тем, что бывает у людей, переставших задавать вопросы и начавших видеть ответы.

Велосипед не крадут просто так, не у курьера, не в половине восьмого утра. Не оставляя на месте горячую медную монету с надписью, которую не должен понимать никто. Это не кража. Это ставка.

Марк произнёс это вслух, тихо, во двор, занятый своими делами. Бабушка считала пирожки, кот умывался, второй кот смотрел на первого. Монета в кармане грела — тёплая, маленькое сердце, чьё-то присутствие, чей-то интерес к его персоне.

А где-то между девятым и десятым этажами, в помещении без потолка, три женщины плели, измеряли и точили, и одна из них вдруг улыбнулась.

— Его нить стала ещё теплее.

Другая перестала точить.

— Долго он протянет?

— Дольше, чем вы думаете.

А Марк шёл пешком, по серому городу, в синей куртке с заедающей молнией, с рюкзаком, в котором пахло чужими обедами, и не знал, что за ним следят, что монета в его кармане — не просто монета, а визитная карточка.

Монета в кармане грела бедро.

Пеший курьер — зрелище, достойное кисти живописца, если бы живописец этот не был так же голоден, как его модель. Марк шёл по улицам города с тем выражением лица, с каким ходят люди, знающие: если идти достаточно долго, можно дойти до чего угодно.

Рюкзак на спине тяжелеет с каждым шагом. Не потому, что в нём что-то прибавилось, — гравитация штука коварная, работающая против тех, кто идёт пешком после украденного

велосипеда, против тех, у кого в кармане лежит горячая медная монета, греющая, но не помогающая.

Телефон завибрировал. Марк достал — клиент.

— Где мой кофе?

Голос раздражённый, голос человека, ждавшего пятнадцать минут и уже решившего, что жизнь несправедлива.

— Буду через пять минут.

— Вы что, пешком?

Марк посмотрел на свои ноги. Ноги шли. Рюкзак подпрыгивал. Молния на куртке заедала.

— Велосипед на ремонте.

— Ага.

Голос бросил трубку. Марк усмехнулся. Велосипед не на ремонте. Велосипед украден, превратился в перерезанную цепь и горячую монету. Но клиенту этого не скажешь. Клиенту скажешь «на ремонте» — и клиент успокоится. Клиенты вообще успокаиваются от слов, звучащих нормально, даже если слова — ложь.

Марк ускорился. Ноги гудели, спина ныла, рюкзак давил. Свернул в короткий переулок, тёмный, с высокими стенами, не пускающими солнце. Тени длинные, тени людей, не желающих, чтобы их заметили. Марк шёл быстро, старался не смотреть по сторонам. Но тут — заметил.

В витрине закрытой мастерской что-то блестело. Не золото, не серебро, а медно-оранжевое, тёплое, маленький огонёк в витрине, греющий, но не обжигающий. Марк остановился. В витрине стоял велосипед.

Не такой, как у Марка, намного винтажнее. Деревянные ручки, отполированные руками, давно переставшими существовать. Корзина из лозы, сплетённая так, что корзина должна была быть не просто корзиной, а чем-то большим. Колокольчик — Марк прислушался — звенел, даже когда не звонили. Тихо, колокольчик пел сам себе песню, которую знал только он.

Медно-оранжевое тепло смотрело из витрины.

Переулок пуст. Дверь мастерской закрыта, но велосипед стоял, ждал. Марк толкнул дверь — она открылась без скрипа, без сопротивления, открылась охотно. Внутри оказалось тепло, не жарко, а приятно. Пахло машинным маслом и деревом. На стене висели старые, не современные, но практичные инструменты: молотки, клещи, напильники. Всё висело так, как висят вещи, используемые каждый день.

— Тут кто-нибудь есть?

Мастерская молчала. Марк обошёл велосипед, стоявший посреди помещения, поставленный именно здесь, именно так, чтобы его заметили. На руле закреплена маленькая записка, сложенная вдвое. Марк взял, развернул. Одно слово, одна буква: «Катись. Г.»

Марк посмотрел на записку, потом на велосипед, потом на пустую мастерскую.

— Г. Кто такой Г.?

Мастерская не ответила. Колокольчик на руле звенел тихо, радовался. Марк сунул записку в карман, рядом с монетой. Карман стал ещё теплее. Две тёплые вещи в одном кармане — это уже не случайность, это тенденция. И тут Марк остановился. Потому что понял: стоит перед выбором.

Взять велосипед — кража или подарок? Ловушка или что-то четвёртое, чего он пока не понимает? Не взять — целый день идти пешком через весь город, с рюкзаком, пахнущим чужими обедами, пока клиент пишет гневный отзыв, пока деньги превращаются из денег в еду, в аренду, в ещё один день жизни.

Марк посмотрел на велосипед. Велосипед не мог смотреть — у велосипедов нет глаз, — но стоял он так, ждал. Ждал, что кто-то его возьмёт. Или не возьмёт.

— Ладно. Катись так катись.

Записка шуршала в кармане рядом с монетой.

Марк вывел велосипед из мастерской. Механизм, который каждый норовит изобрести заново, катился легко, колёса не знали, что такое асфальт. Марк сел. Сиденье тёплое — не от солнца, а само по себе, помнило тепло того, кто его сделал. Нажал на педаль — педаль не скрипнула. Колокольчик звенел сам собой, радовался. Ветер в лицо. Колокольчик звенит. Монета в кармане греет. Записка в кармане шуршит.

— Кто-то мне помогает. Кто ты?

Переулок не ответил. Он просто взял и закончился. Марк выехал на серую улицу, поехал по ней, и улица становилась чуть менее серой, или Марку так казалось. Доехал до Пушкина, оставил велосипед у столба, пристегнул цепью, которая была на нём. Цепь не перерезанная, крепкая, цепь, выкованная, чтобы её не перерезали.

Марк забрал кофе, отнёс клиенту. Клиент взял кофе, не поблагодарил. Марк не обиделся. Клиенты вообще не благодарят, по крайней мере те, которые ждали пятнадцать минут. Перед тем как сесть на велосипед, Марк зашёл в мастерскую попрощаться, скорее, поблагодарить воздух, пахнущий машинным маслом. Выходя, задел плечом полку с часами на стене.

Часы — старые, с кукушкой, — качнулись, упали на пол. Стекло треснуло. Кукушка вывалилась, покатилась под шкаф.

— Простите. Я не нарочно.

Мастерская не ответила. Только колокольчик на руле велосипеда звякнул сам собой, смеялся. Марк посмотрел на разбитые часы. Подумал: вернусь, починю, когда-нибудь. Вернулся к велосипеду, сел, поехал дальше, к следующему заказу, к следующему клиенту, к следующему дню.

Кукушка покатилась под шкаф, стеклянно звеня.

А где-то в переулке, в мастерской, пахнущей машинным маслом и деревом, никого не было. Только инструменты на стене, запах горящего горна, следы на полу — следы того, кто хромал, того, кто ходил тяжело, носил в себе что-то большое. И если бы кто-то посмотрел очень-очень внимательно, он бы заметил: на наковальне в углу лежал молот, маленький, но тяжёлый, с надписью «Г.» Молот был тёплый, тёплый, его только что использовали.

Не велосипед или цепь, а что-то большее, что нельзя увидеть глазами, но что можно почувствовать — если ехать на велосипеде с деревянными ручками и слушать, как звенит колокольчик, звенящий сам собой.

Молот с буквой Г остывал на наковальне.

Кафе «Пыль времени» помещалось в старом особняке, который пережил трёх владельцев, двух революций и одного архитектора-самозванца, перестроившего камин так, что тот дымил в гостиную, а не в трубу. Хозяин — человек с бородой, которая росла так, как растут бороды у тех, кто хочет, чтобы его считали художником, — говорил, что дым из камина — часть экспозиции. Посетители говорили, что это часть их жизни, и выходили на улицу кашлять.

Лена сидела у окна, на ней был одет терракотовый шарф — тот самый, который она носила, когда хотела чувствовать себя защищённой. У того самого окна, через которое было видно улицу, прохожих, кота на подоконнике напротив и ещё одно зеркало — в витрине ювелирной мастерской, которое отражало первое зеркало, и получалась бесконечная коридорная перспектива, от которой у Лены иногда начинала болеть голова, но сегодня голова у Лены болела не от зеркал.

Перед Леной стояло какао с корицей — Лена заказала с корицей, потому что корица, по её мнению, была единственным честным вкусом на свете. Корица не притворялась. Корица была — корицей. Какао, однако, остывало. Лена его не пила, она смотрела в ноутбук.

Ноутбук старый — с потёртыми углами, с наклейкой «Не фотограф», которую Лена наклеила в первый день работы и теперь не могла отодрать, потому что клей въелся, как въеда-

ются вещи, которые должны были быть временными, но претендуют на постоянство. На экране ноутбука имелась папка. Она называлась «Тени».

Лена открыла папку. В папке сорок семь фотографий.

Сорок семь фотографий, на которых было — всё нормально. Ну, в смысле, на первый взгляд. На первой — улица, люди, витрины. На второй — площадь, фонтан, голуби. На третьей — подъезд, почтовые ящики, велосипед у стены. На четвёртой — Лена сама, в кафе, с какао, с корицей. Всё как у людей, как на обычных фотографиях, которые делают обычные люди, которые не подозревают, что обычные фотографии — это только начало.

Но если присмотреться — очень присмотреться, приблизить экран, щуриться, — на каждой фотографии была тень, но не та, что должна быть, а другая, не такая, как должна была быть.

На первой — у человека в пальто тень падала не влево, а прямо. На второй — у фонтана тень была длиннее, чем должна была быть при таком солнце. На третьей — у велосипеда тень была без велосипеда. На четвёртой — за спиной Лены стояла тень, которой не было в кафе.

Лена листала фотографии. Одну. Вторую. Третью. Сорок седьмую.

Руки её дрожали. Не сильно — просто дрожали, как дрожат руки у тех, кто слишком долго держал что-то тяжёлое и теперь не может это отпустить.

— Я не сумасшедшая, — сказала Лена вслух.

Бариста за стойкой поднял глаза. Молодой мужчина, с бородой, которая росла так, как растут бороды у тех, кто хочет, чтобы его считали философом, но на самом деле просто не любит бриться.

— Что? — спросил бариста.

— Ничего, — сказала Лена. — Я сама себе.

— А, — сказал бариста. — Я думал, вы мне.

— Нет, — сказала Лена. — Я себе. Я часто себе, для меня, это нормально.

— Ну, — сказал бариста. — С кем не бывает.

И снова занялся своим делом — протирал стойку тряпкой, как протирают стойки те, кто хочет, чтобы тряпка думала, что она нужна.

Лена закрыла папку. Закрыла ноутбук. Посмотрела в зеркало на стене.

Зеркало кривое. В нём Лена была чуть наклонена, как будто Лена прислушивалась к чему-то, чего не слышал никто. В зеркале отражались кафе — стойка, бариста, два столика, окно, улица за окном и она сама, а за спиной у Лены находилась тень.

Лена посмотрела в зеркало. Тень была, но не её, не та, что должна была падать от лампы над столиком. Тень была другая. Розовая, не ярко-розовая, не нежно-розовая, а какая-то уставшая, как розовый лак на ногтях, который носили три недели и не перекрашивали. С трещинами. Тень стояла за спиной девушки и смотрела, не на Лену, а сквозь неё, на что-то за её спиной, чего в кафе не было.

Лена обернулась.

За её спиной стоял стул, на стуле — никто не сидел. На стуле лежала салфетка, которую забыл предыдущий посетитель. Салфетка смятая, как сминают салфетки те, кто не знает, что делать с руками.

Лена посмотрела в зеркало снова, тени не было.

Девушка моргнула. Посмотрела ещё раз. Тени не было, только она, кафе, бариста, который протирал стойку и салфетка на стуле.

Сердце Лены колотилось так, как колотятся сердца у тех, кто только что видел что-то, чего не должен был видеть. Лена сжала руки под столом — чтобы не дрожали. Чтобы никто не заметил, чтобы самой не заметить.

— Ладно, пусть будет так, — сказала Лена. — Хорошо, приму ситуацию как есть.

Она сказала это не зеркалу, не кафе, не тени. Она сказала это себе — той, которая ещё пять минут назад верила, что всё в порядке. Той, которая ещё вчера думала, что сорок семь

фотографий с тенями — это просто глюк камеры. Той, которая ещё час назад была уверена, что она — нормальная.

Она достала зеркалку. Камера была не ноутбук. Фотоаппарат был как профессиональная камера, с объективом, который Лена протирала чаще, чем собственные очки. Камера видела то, что не видит глаз. Камера не врала, она, если верить Лене — была единственным честным существом на свете, даже, честнее корицы.

Лена навела камеру на зеркало. Щёлк и посмотрела на экран.

На экране: она, кафе, зеркало и за её спиной — тень. Розовая. С трещинами. Смотрящая.

Лена увеличила фото. Пальцами по экрану — раз, два, три. Тень стала больше и Лена увидела — на тени было что-то вроде лица, не лицо, а лишь намёк на лицо, как намёк на улыбку бывает у кота, который съел что-то, о чём не расскажет.

Лена сохранила фото. Сорок восьмое.

— Сорок восемь, — сказала Лена вслух. — Уже почти полтинник.

Бариста снова поднял глаза.

— Что полтинник? — спросил бариста.

— Ничего, — сказала Лена. — Я просто считаю.

— Что считаете?

— Дни, — сказала Лена. — Дни, когда я это вижу.

— Что видите?

Лена посмотрела на баристу. Бариста был молодой. Бариста был нормальный. Бариста, скорее всего, никогда не видел розовых теней с трещинами, которые стоят за спиной в кривом зеркале. Бариста видел: стойку, тряпку, салфетку, какао с корицей.

— Ничего, — сказала Лена. — Лишь погоду.

— А, — сказал бариста. — Погода сегодня так себе.

— Да, — сказала Лена. — Так себе.

Она допила остывшее какао. Корица осталась на дне чашки — осадком, как оседают вещи, которые должны были раствориться, но не смогли. Лена поставила чашку. Закрыла ноутбук. Сунула камеру в сумку. Сумка большая, с ремнём через плечо, в ней помещалось всё: камера, ноутбук, запасные объективы, блокнот, ручка, пачка салфеток, ключи, кошелёк, и ещё оставалось место для чего-то, что Лена ещё не придумала носить с собой.

Лена встала. Подошла к зеркалу к тому самому, кривому. Посмотрела в него ещё раз.

Тени не было.

— Ну хорошо, — сказала Лена зеркалу. — Значит играем.

Зеркало не ответило. Зеркала вообще не разговаривают, по крайней мере, в присутствии фотографов, которые видят то, чего не видят другие, но Лене показалось или ей действительно показалось, что зеркало на долю секунды стало чуть менее кривым. Как будто оно выпрямилось, будто оно услышало.

Лена вышла из кафе.

На улице серый день, как и вчера. Серый, как и позавчера, как все дни, которые Лена помнила, но Лена шла — и смотрела. Смотрела не перед собой, как смотрят те, кто идёт по делам. Смотрела — по сторонам, на тени, на свои и чужие, на те, что падали влево. На те, что падали вправо, на те, что не должны были падать вообще.

У подъезда тень мужчины в пальто была нормальная. У женщины с собакой — нормальная. У кота на подоконнике — нормальная и у столба — нормальная.

Но у витрины ювелирной мастерской — Лена остановилась — у витрины тень была не от витрины. Тень была — от кого-то, кто стоял внутри, но внутри никого не было.

Лена достала камеру. Щёлк. Посмотрела на экран.

На экране виднелась тень. Чёткая, не размытая и не глючная. Тень стояла и смотрела — прямо в объектив.

Лена сунула камеру в сумку. Усмехнулась — сама себе.

— Я думала, я сумасшедшая, — сказала Лена вслух. — Но я не одна такая.

Она не знала, кому она это говорит. Улице? Серому дню? Той розовой тени с трещинами, которая стояла за её спиной в кривом зеркале? Может быть, самой себе — той, что ещё вчера боялась сказать это вслух и пошла, не опуская глаз и не пряча камеру, не притворяясь, что всё нормально.

Лена шла и искала, кого — она ещё не знала, но она знала — кто-то есть. Кто-то, кто видит то же, что видит она. Кто-то, кто не сумасшедший, с кем можно — не говорить, не делиться, не объяснять — а просто знать, что ты не одна.

Потому что быть одной с этим невыносимо, а быть не одной — было началом чего-то. Чего именно — Лена ещё не знала, но она шла и тени — шли за ней.

Крыша того самого дома, где Марк утром жевал остывший бутерброд, как обычная крыша, если не считать того, что на этой крыше в девять ноль-ноль утра собралось совещание, которое не значилось ни в одном календаре, ни в одном протоколе, ни в одной повестке дня и что на этой крыше внешне тихо — не потому, что никто не говорил, а потому, что те, кто говорил, говорили так, будто их никто не слышал.

Первым пришёл Гермес, как приходят те, кто приходит первым, чтобы сделать вид, что опоздал. Синяя куртка, с капюшоном, на котором были пришиты два маленьких крылышка. В руке держал телефон. Посланник богов крутил телефон в руках, как крутят те, кто не может без телефона ни минуты. Гермес сел на край стола — не на стул, а именно на стол, как садятся те, кто не уважает столы, хотя стол - престол Божий.

— Ну что, — сказал Гермес. — Кто сегодня проигрывает?

Второй пришла Афродита, как приходят те, кто знает, что на них будут смотреть, и хочет, чтобы смотрели. Розовое платье — не ярко-розовое, а такое, как розовый лак на ногтях, который носили три недели и не перекрашивали. С трещинами. Богиня любви и красоты села на стул — но не полностью, а на одну обворожительную ягодицу, как садятся те, кто хочет уйти, но не хочет, чтобы это заметили. Афродита достала пилочку для ногтей и начала пилить.

— Я не проигрываю, — сказала Афродита. — Я просто не играю.

— Ты всегда не играешь, — сказал Гермес. — Поэтому и проигрываешь.

Третьим пришёл Арес, как приходят те, кто хочет, чтобы все видели, что они пришли. Красная куртка, с молнией, которая не заедала, потому что у Ареса ничего не заедало. В руке держал не большой, не маленький нож, а такой, которым удобно точить о стол. Яростный бог войны сел — рядом с Плутоном, который ещё не пришёл. Арес начал точить нож о стол. Звук был — как звук, который издаёт гвоздь, когда им скребут по стеклу.

— Прекрати, — сказала Афродита, не поднимая глаз от пилочки.

— Почему? — спросил Арес.

— Потому что бесит.

— Хорошо, — сказал Арес и продолжил точить.

Четвёртым пришёл Дионис, как приходят те, кто пришёл, потому что его позвали, но мог бы и не приходить. Пурпурно-зелёная куртка, с пятнами, которые могли быть от вина, а могли быть от чего-то другого. В руке бог виноделия держал бокал. Не полный, не пустой, а такой, из которого уже пили, но и ещё будут. Дионис сел — рядом с Гермесом, как садятся те, кто хочет, чтобы было весело, даже если не будет.

— Кого сегодня разбираем? — спросил Дионис.

— Курьера, — сказал Гермес.

— Опять? — спросил Дионис. — Мы же вчера разбирали.

— Вчера разбирали бухгалтера, — сказал Гермес. — Бухгалтер был скучный.

— А курьер не скучный? — спросил Дионис.

— Курьер, — сказал Гермес. — Пока не скучный.

Пятой пришла Афина тихо, как приходят те, кто не хочет, чтобы их заметили, но хотят, чтобы их услышали. Серый пиджак, очки в тонкой оправе, волосы собраны так, как собирают волосы те, кто не любит, когда они мешают думать. Богиня справедливой и умной войны села — напротив Гермеса, но не на стол, а на стул, как садятся те, кто уважает столы. Афина достала тонкий блокнот, в кожаной обложке, с закладками на каждой странице.

— Правила одинаковые для всех, — сказала Афина менторским тоном. — Напоминаю, не убивать, не принуждать, а только ставить и проверять.

— Ты уже напомнила нам, — сказал Арес. — Целых три раза.

— Напомню четвёртый, — сказала Афина. — Если понадобится.

Шестым пришёл Зевс, как приходят те, кто приходит последним, чтобы все видели, что они пришли последними. Костюм - тройка, тёмно-синий, с золотой булавкой в галстуке. Булавка у повелителя грома и молний тоже в форме молнии, не той, которую рисуют на батарейках, а настоящей, маленькой, которая иногда, если присмотреться, слегка покалывала светом. Зевс сел во главе стола. Постучал пальцем по столу — один раз, коротко, как стучат те, кто хочет, чтобы все замолчали, даже если никто не говорит.

— Начнём совещание, — властно сказал Зевс.

— Мы уже начали, — сказал Гермес. — Ты опоздал.

— Я не опаздываю, — сказал Зевс. — Я прихожу, когда нужно.

— Это и есть опаздывать, — сказал Гермес.

Зевс посмотрел на Гермеса. Гермес посмотрел на Зевса. Потом Зевс постучал по столу второй раз.

— Итоги по курьеру, — сказал Зевс. — Афина?

Афина открыла блокнот, полистала и нашла нужную страницу.

— Афина плюс один, — сказала Афина. — Плутон минус один. Случай с кошельком. Курьер поступил справедливо, он не поддался искушению.

— Он был под моим влиянием, — сказал Плутон.

Бог подземного мира пришёл — никто не заметил, когда. Просто сидел сбоку, в чёрном пальто, с медными пуговицами, которые поблёскивали, как старые монеты. Под глазами — тени, которые были темнее, чем должны быть.

— Ты переборщил, — сказала Афина. — Люди, когда на них давят, иногда упираются.

— Это нечестно, — сказал Плутон.

— Это природа, — сказала Афина.

— Природа, — фыркнул Плутон. — Природа когда сильный ест слабого, а тут — слабый не дал себя съесть, что не природа, а аномалия.

— Аномалия, — сказала Афина. — Его нить, она почему-то тёплая.

— Нити не бывают тёплыми, — произнес задумчиво Зевс.

— А эта бывает, — сказала Афина.

Все замолчали, даже Арес перестал точить нож и Афродита перестала пилить свои идеальные ноготки, а Дионис перестал пить!

— Покажите, — удивленно воскликнул Зевс.

Афина протянула нить — тонкую, синюю, светящуюся. Зевс взял нить. Подержал в руках и помолчал.

— Интересно, — сказал Зевс. — Кто ты такой, курьер?

Он вернул нить Афине, та сунула нить в блокнот и закрыла его.

— Продолжаем, — сказал Зевс. — Гефест? Твоё мнение?

Покровитель ремесел сидел в конце стола, никто не заметил, когда он пришёл. Рабочая куртка, медно-оранжевая, с карманами, в которых что-то звенело. Гефест хромал — или нет, просто сидел криво. Гефест поднял глаза. Посмотрел на Зевса. Потом на стол. Потом на свои руки.

— Я кузнец, — сказал Гефест. — Я делаю то, чем вы играете.

Все засмеялись, кроме Афины. Она посмотрела на Гефеста — долго, внимательно, как смотрят на того, кто сказал что-то, что не должен был говорить.

Гефест отвёл взгляд и тут уронил ключ.

Ключ выскользнул из кармана или Гефест его уронил, или ключ решил выпасть сам. Ключ катился по столу, от Гефеста к центру, от центра к краю. Ключ был маленький, медный, с бородкой, которая была сложной, как бывают сложными ключи от дверей, которые не должны открываться.

Все посмотрели на ключ.

— Ой, — сказал Гефест. — Извините.

Он нагнулся, поднял ключ, сунул обратно в карман. Но ключ или другой ключ, такой же — остался на столе. Лежал и поблёскивал.

Никто не спросил, чей это ключ и для чего этот ключ. Все сделали вид, что не заметили. Все, кроме Афины. Она смотрела на ключ — пристально и внимательно. Потом перевела взгляд на Гефеста, а тот не смотрел.

— Хорошо надо обдумать, — сказал Зевс. — Совет окончен.

Все встали.

Зевс ушёл первым — в золотой свет, который лился сверху. Афина ушла второй — в серебряный, который был чуть тусклее. Плутон ушёл третьим — в чёрный, с медным отливом. Арес ушёл — в красный, который был слишком ярким для утра. Афродита ушла — в розовый, с трещинами. Гермес ушёл — исчез, как исчезают те, кто торопится. Дионис ушёл — медленно, как уходят те, кто не хочет уходить, но должен. Мойры ушли — вместе, с нитями, с вязанием, с линейкой, с ножницами.

Гефест остался последним.

Гефест поднял ключ — тот, что остался на столе. Сунул в карман. Посмотрел вниз — через край крыши, во двор, где маленький человек в синей куртке ехал на новом велосипеде с деревянными ручками.

— Катись, курьер, — сказал Гефест. — Катись по своим делам.

И исчез, крыша оказалась пуста.

Только ветер играл с царапинами на столе, свет лился сверху — и не грел, но освещал. Только где-то внизу — во дворе, среди мусорных баков и лавочки, — маленький человек в синей куртке ехал на велосипеде и не знал, что за ним следят восемь богов.

И что один из этих богов только что сказал: «Катись».

Этот бог: хромал, уронил ключ, был для того, кто не знал, что он для него, пока что.

ГЛАВА 3. «ЦЕЛЬ»

Спортивная площадка у школы 47 являлась тем местом, где детство заканчивалось не постепенно, а рывком, как обрывается нить, когда её слишком сильно тянут. Баскетбольное кольцо висело на ржавой скобе и наклонялось вправо, будто устало держать себя и хотело, наконец, упасть и отдохнуть. Асфальт в трещинах, и из этих трещин росла упрямая трава, как растут все вещи, которым не положено расти.

Марк подъехал на своем новом велосипеде — том самом, с деревянными ручками и корзиной из лозы, — и остановился, потому что дорогу ему преградил странный заказ, три протеиновых коктейля в термосумке для пятнадцатилетнего школьника по имени Артём, который, судя по комментарию в приложении, «качался и не любил, когда опаздывали».

Марк не любил, когда опаздывали, тоже, но сегодня у него были причины опоздать поважнее, но причина стояла посреди площадки и дралась.

Дрались двое. Оба — пятнадцати лет, оба — в красных спортивных куртках, как будто они специально договорились одеться в цвет, который лучше всего смотрится на фоне крови. Один был повыше, с прыщом на подбородке, который делал его похожим на вулкан, вот-вот готовый извергнуться. Второй был покороче, но пошире, и в его кулаках было столько злости, что хватило бы на двоих.

Вокруг них стояла толпа. Толпа как толпа. Одни снимали на телефоны, другие кричали «Бей его!», третьи молча жевали чипсы и смотрели с тем выражением, с каким смотрят футбол. Учительницы не было. Она, видимо, была где-то в учительской и пила валерьянку, потому что другие причины отсутствовать на рабочем месте в два часа дня Марк придумать не мог.

Марк посмотрел на термосумку. Потом на дерущихся. Потом снова на термосумку.

«Не моё дело, — подумал Марк. — Доставлю коктейли и уеду».

Он уже собрался было объехать площадку стороной, когда высокий — тот, что с прыщом, — упал. Упал он красиво, как падают те, кто привык падать: сначала колени, потом руки, потом лицо. Лицо ударилось об асфальт с тем звуком, с каким ударяется об асфальт всё, что слишком долго летело и из носа — пошла кровь.

Не много, всего капля, две, три... Но Марк увидел и замер.

Потому что и над обоими дерущимися, над толпой, над всей площадкой — было что-то, не марево и не дым, а что-то другое. Красное, как закат, который сегодня почему-то был в два часа дня, хотя закаты в два часа дня не случаются, если только не случается что-то совсем неправильное и это красное что-то дышало.

Оно наливается с каждой каплей крови, как наливается бокал, который кто-то подставляет под тонкую струйку. Оно было, как запах, который можно увидеть, как крик, который можно потрогать и Марк понял — не головой, а чем-то другим, тем, что проснулось в нём после кошелька, после монеты, после велосипеда с деревянными ручками, — что это то же самое, что тень Плутона во дворе, только другое, гораздо голоднее.

— Эй! — сказал Марк.

Сам не ожидал, что скажет. Рот открылся — и слово вылетело, как вылетают слова, которые не успевают пройти через голову.

Толпа обернулась. Дерущиеся — тоже. Высокий — с кровью на подбородке. Низкий — с кулаками, которые ещё не решили, что делать дальше.

— Ты кто такой? — спросил низкий.

— Курьер, — сказал Марк. — И мне совсем некогда.

— Тогда иди отсюда, — сказал низкий. — Не твоё дело.

— Было бы не моё, — сказал Марк. — Я бы пошёл.

Он аккуратно бросил рюкзак на землю, чтобы коктейли не разбились и вошёл в круг. Вошёл так, как входят те, кто уже пожалел о том, что входит, но отступать поздно. Встал между парнями — спиной к низкому, лицом к высокому. Высокий смотрел на него с выражением, которое бывает у людей, когда они не понимают, что перед ними то ли герой, то ли идиот.

— Уйди, — сказал высокий. — А то и тебе щас достанется.

— Мне и так достаётся, — сказал Марк. — Каждый день. Велосипед вот украли. Коктейли ваши тают, клиент ругается, а вы ещё дерётесь.

— Ты чё, самый умный? — низкий за его спиной сжал кулак.

— Нет, — сказал Марк. — Я курьер. Самые умные в другом месте, а я просто прошу: разойдитесь, у него нос разбит у тебя — кулак ссажен, ничья парни!

Высокий посмотрел на низкого. Низкий посмотрел на высокого, что-то между ними произошло — невидимое для Марка, но видимое для того красного, что дышало над площадкой. Что-то, что было похоже на решение, но не в пользу мира.

Низкий замахнулся, но Марк даже не обернулся.

— Ударь меня, — сказал он. — И будешь объясняться с полицией у него уже кровь есть. Добавишь свою и будет два протокола. Тебе это надо?

Кулак замер. Марк чувствовал его за спиной — тёплым, злым, живым. Чувствовал, как от него пахнет потом и чипсами. Чувствовал, как низкий дышит так часто, как дышат те, кто вот-вот либо ударит, либо отступит.

И низкий отступил. Опустил кулак. Сделал шаг назад. Сплюнул в сторону, как сплёвывают те, кто хочет показать, что ему всё равно, хотя ему не всё равно.

— Ладно, — сказал низкий. — Пошли, Серёга.

Высокий — Серёга, значит, — поднялся. Вытер нос рукавом. Посмотрел на Марка — долго, с тем выражением, с каким смотрят на человека, который только что сделал что-то непонятное.

— Ты чего, — сказал Серёга. — Герой, что ли?

— Нет, — сказал Марк. — Просто курьер.

Толпа начала расходиться, кому-то стало скучно, кто-то испугался, а кто-то просто понял, что драки не будет, а без драки зрелище — не зрелище. Девочка с чипсами забрала пакет и ушла, не оглядываясь. Мальчик с телефоном перестал снимать и пошёл за ней.

Марк нагнулся, поднял рюкзак. Проверил — коктейли целы. Выдохнул. Руки дрожали — не от страха, а от того, что могло быть. От того, что он только что сделал, и не понимал — зачем.

И тут он почувствовал, но не ушами и не глазами, а чем-то, что было внутри и что до этого молчало. Почувствовал — что на него смотрят, не Серёга. Не тот низкий. Не толпа. Кто-то ещё, кто-то, кого нет на площадке. Тот, кто стоит — и смотрит.

Марк обернулся.

У забора — никого. Только ржавый гвоздь, который торчал из доски и блестел, как новый. Только ворона на верхушке забора, которая смотрела на Марка — пристально, как смотрят те, кто знает что-то, чего не знают другие. Только воздух — тяжёлый, как после грозы, хотя грозы не было. Только запах — костра или крови, а может того и другого сразу.

И тогда Марк услышал, не голос и не слова, а что-то, что было похоже на голос и на слова одновременно, — но приходило не из воздуха, а изнутри, из того места, где обычно живут мысли, которые не успевают сформироваться.

«Ты не должен был вмешиваться».

Марк замер.

«Теперь ты — цель».

Ворона на заборе каркает — один раз, громко, как каркают те, кто предупреждает. И улетает — не в сторону, не вверх, а куда-то, где её сразу же съедает небо.

А Марк стоит у забора, с рюкзаком на плече, с тремя протеиновыми коктейлями, которые тают в термосумке, и думает о том, что голос — если это был голос — звучал так, как звучит металл, когда его бьют другим металлом. Твёрдо, холодно и с удовольствием.

Он посмотрел на ржавый гвоздь, тот блестел. Посмотрел на небо. Оно было красным — в два часа дня, как и не положено.

Марк пошёл к велосипеду — медленно, как идут те, кто понял, что жизнь только что разделилась на «до» и «после», но ещё не знает, чем это ему грозит.

А где-то — высоко, там, где кончается забор и начинается небо, — красное, которое дышало над площадкой, улыбалось, так, как улыбаются те, кто только что нашёл себе новую игрушку и эта игрушка — шла к своему велосипеду, не зная, что её уже выбрали, но не для того, чтобы играть с ней, а для того, чтобы играть в неё.

У всякой пророчицы, доложу я вам, есть свои бытовые неудобства, не те, о которых пишут в книгах: треножник, лавровый венок, восторженный хор на ступенях храма, а самые что ни на есть житейские. Например, кофе. Кассандра купила кофе в киоске у входа в парк. Кофе ей налили в стаканчик с надписью «Бодрого утра!», после чего она забыла о кофе, и кофе остыл. Остывший кофе — это, вообще-то, точный портрет пророческого дара, вроде бы то же самое, а пить невозможно.

Кассандра сидела на скамейке. Скамейка была обычная, деревянная, с одной уцелевшей доской, и сидеть на ней приходилось чуть наискосок, на одном полупопии, что придавало всей фигуре Кассандры вид человека, который внимательно прислушивается к чему-то справа. Она и прислушивалась. Всегда. С тех пор, как ей это дали, — а давали, надо сказать, несправедливо: дар выдали целиком, а права быть услышанной не выдали вовсе, как в наказание.

На прорицательнице надет пепельного цвета платок, не потому, что она так одевалась. Платок пепельного цвета она носила всегда, сколько Кассандра его помнила, и стирали его дважды, и один раз отдавали в химчистку, после чего химчистка вернула его с извинениями и без объяснений. Под платком убраны её красивые тёмные волосы, но собранные на затылке кое-как, и лицо, на котором не было ни красоты, ни уродства, а было главное: абсолютная, до дна вычерпанная усталость.

В парке тихо, не та тишина, которая бывает в парке утром, когда никто ещё не вышел, а та, которая бывает в парке, когда все вышли и никому ни до чего нет дела. Дворник мёл дорожку. Мёл он старательно, подметал листья в кучу, кучу сгребал в совок, совок вытряхивал в мешок, и из мешка, по неясной для дворника причине, листья возвращались на дорожку. Дворник не ругался. Он был человек мудрый и понимал, что работа должна быть, а чем именно — не столь существенно.

— Красиво подметаете, — сказала Кассандра.

— А то, — сказал дворник. — Только вечно одно и то же.

— Через три дня здесь будет пожар, — сказала Кассандра.

Дворник выпрямился, оперся на метлу и посмотрел на неё с интересом.

— Вот это дело, — сказал он. — Хоть кто-то думает о благоустройстве. Я им три года говорю: урну поставьте, а им всё пожар подавай.

Кассандра посмотрела на него. Дворник посмотрел на Кассандру. Потом сказал: «Только не сжигайте скамейку, она последняя», — и пошёл мести дальше.

Вот в этом и заключалась вся беда.

Она говорила правду, а люди слышали шутку. Она показывала будущее, а люди думали, что у неё просто плохое настроение. Однажды, ещё в прошлом городе, она сказала женщине на остановке: «Не садитесь в этот автобус».

Женщина села, потому что опаздывала на работу. Автобус не разбился. Женщина вернулась через неделю, нашла Кассандру и тридцать минут объясняла ей, что она, Кассандра, —

нехороший человек, потому что напугала её зря. Автобус потом всё-таки разбился, но уже на следующий день и это, как вы понимаете, обстоятельство ничего не меняло.

Кассандра отпила остывший кофе и поморщилась. Поставила стаканчик на скамейку рядом и тут — началось.

Она узнала это ощущение сразу: воздух стал плотным, как желе, звук ушёл куда-то в сторону, а перед глазами, вместо парка, развернулось не изображение — нет, изображение было бы слишком простой вещью, — а знание того, чего ещё не было.

Она увидела крышу.

Серую крышу девятиэтажки, антенну, ворону на антенне. Увидела мужчину в синей куртке — не красавца, не героя, а самого обычного человека, который одной рукой застёгивает рюкзак, а второй держит термос. Увидела, как он морщится от остывшего чая. Увидела, как он говорит вороне: «Чего уставилась?» — и как ворона отвечает ему взглядом, в котором больше смысла, чем во всём человеческом роде.

И Кассандра — вот нелепость, вот где её дар превращался в дешёвый водевиль, — Кассандра влюбилась.

Вот так сразу, без подготовки, без церемоний, без единого разумного основания. Человек даже не смотрел в её сторону. Человек смотрел на ворону и это было, надо признать, обидно.

Потом в видении появилась девушка.

С камерой и с сумкой, в которой помещалось всё на свете, с терракотовым шарфом, с пальцами, которые держали объектив так бережно, как другие держат руку ребёнка. Девушка сидела в кафе и смотрела на фотографии, которых никто другой не видел. Девушка была, как бы так сказать - тёплая. Не в смысле температуры, а в смысле того, к чему тянутся руки, когда холодно.

Кассандра увидела, как они встречаются. Увидела, как они врут друг другу. Увидела, как один уходит, а другая не открывает дверь. Увидела, как потом — спустя очень много боли и несколько очень глупых поступков — они всё-таки подходят друг к другу достаточно близко, чтобы перестать врать, а потом она увидела конец.

Не конец мира и не конец всего. Просто конец одной маленькой человеческой истории: мужчина в синей куртке побеждает. Побеждает по-настоящему, так, что вокруг него меняются сами стены города, а девушка с камерой уходит. Не умирает, не исчезает, не предаёт — просто уходит, потому что победить оказалось недостаточно.

«Он выиграет, — подумала Кассандра. — Но потеряет её».

И заплакала, без слёз, они у неё кончились ещё в прошлом городе, и с тех пор плакать приходилось чем-то внутренним, щемящим и надрывным, что было гораздо противнее.

Скамейка покачнулась. Платок сполз с плеча. Кассандра ухватила его рукой и тут увидела, что рядом с ней, на скамейке, лежит газета.

Пресса свежая, совершенно свежая, даже типографской краской пахла, на первой странице, в нижней колонке, мелким шрифтом, среди сообщений о повышении цен и о том, что кто-то кому-то не заплатил, было напечатано: «Сегодня ночью в доме 12 по улице Садовой произошёл пожар».

Кассандра перевернула газету, посмотрела на дату. Дата значилась через три дня.

Она сидела с этой газетой в руках, и ей было так хорошо знакомо это чувство: вот оно, будущее, бери, читай, предупреждай. Будущее лежало перед ней в виде дешёвой бумаги стоимостью двенадцать рублей и не стоило ровно ничего.

По дорожке шёл мужчина. Лет сорока, в дорогом пальто, с собакой на поводке. Собака была маленькая, белая и абсолютно убеждённая в том, что мир существует для того, чтобы её выгуливали.

— Послушайте, — сказала Кассандра.

Мужчина остановился. Остановился он не потому, что захотел слушать, а потому, что собака захотела понюхать чей-то ботинок, и мужчина был вынужден подчиниться.

— У вас огонь не найдётся? — спросил он.

— Нет, — сказала Кассандра. — Но у меня есть пожар.

Мужчина посмотрел на неё сверху вниз. Платок. Бледное лицо. Газета. Остывший кофе. Он сделал то, что делают все нормальные люди в таких обстоятельствах: он перевёл взгляд на собаку, чтобы убедиться, что собака не знает эту женщину.

Собака не знала.

— Ну, — сказал мужчина. — Тогда извините.

— Дом двенадцать на Садовой, — сказала Кассандра. — Через три дня, ночью, у вас там — квартира на четвёртом. Уведите собаку, хотя бы собаку.

Мужчина молчал секунду. Потом сказал ту фразу, от которой у Кассандры каждый раз холодело внутри — не от страха, от чего-то более тупого и более неприятного:

— Слушайте, я спешу.

И ушёл. Собака шла впереди, уверенная в себе, как идут все, кому не дано знать, что будет завтра.

Кассандра проводила их взглядом, посмотрела на газету, затем на пустую дорожку.

— Та, кого никто не слушает, — сказала она вслух.

Это был не стон, а констатация, произнесённая ровным голосом, каким в очереди сообщают номер талончика.

Она сложила газету. Сунула её в сумку, туда, где лежали носовой платок, два конфетных фантика и ключ от квартиры, которую она снимала уже четвёртый год. Закрыла сумку. Поднялась со скамейки — той самой, с недостающей доской, на которой ей приходилось сидеть наискосок, будто всё время прислушиваясь к чему-то справа и впервые за восемь лет она не стала искать прохожего.

Не стала подходить к женщинам с колясками, к мужчинам с собаками, к дворникам с метлами. Не стала предупреждать город, который и так знал всё лучше неё. Она вспомнила крышу. Вспомнила ворону. Вспомнила человека, который разговаривал с вороной — и не показался ей при этом сумасшедшим.

Кассандра поправила пепельный платок и пошла искать курьера в синей куртке, потому что среди всех смертных, которых ей доводилось видеть за восемь невыносимых лет, только он один, стоя на крыше и глядя прямо в вороний глаз, обладал редким и почти вымершим свойством — умел слушать то, что ему говорили.

Здание на углу Большой Никитской и Малого Кисловского было построено в прошлом году, и с тех пор вокруг него не переставали все ссориться. Архитекторы ссорились с урбанистами, урбанисты — с экологами, экологи — с теми, кто просто любил гулять по старой Москве и не понимал, зачем на месте трёхэтажного доходного дома с лепниной поставили стеклянный параллелепипед, в котором по утрам блестело солнце, а по вечерам — холодный синий свет, как от аквариума, только без рыб.

Марк поднялся на двенадцатый этаж на лифте, который ехал так быстро, что уши закладывало, а в животе начинало щекотать, будто лифт не ех, а падал — но падал вверх, что, как известно, физически невозможно, но практически вполне ощутимо.

Заказ был странный. Обычно заказывали еду: шаурму, пиццу, суши, один раз даже заказали живого кролика, и Марк до сих пор не понимал, что с этим кроликом делать и почему клиент написал в комментариях: «Не кормить. Он на диете». Но сегодня заказывали документы, а именно конверт, от помощника мэра. Пятьдесят тысяч за доставку. Плюс десять за то, чтобы не открывал.

Марк не знал, зачем помощнику мэра курьер, если у помощника, судя по всему, был целый штат сотрудников, но пятьдесят тысяч — это аренда на два месяца и деньги на телефон.

Это — передышка и возможность не думать о том, как заплатить за электричество, которое, как известно, не отключают за неуплату, но включают с таким видом, как будто включают, а на самом деле — просто делают одолжение.

Дверь лифта открылась, и Марк вышел в коридор, который был так чист, что в нём можно было видеть собственное отражение — если бы у коридора было лицо. Пол мраморный, стены — стеклянные, а воздух пах дорогим парфюмом и чем-то ещё — чем-то, что пахнет, когда в помещении слишком много людей, которые слишком стараются не потеть.

Помощник мэра ждал его в офисе. Кабинет был большой, с видом на город, и в нём стоял стол, за которым, видимо, решались вопросы государственной важности, потому что на столе не было ничего, кроме телефона и ручки. Ручка была золотая. Телефон был чёрный и то, и другое выглядело так, будто они только что вышли из магазина и ещё не привыкли к тому, что их купили.

Помощник мэра был мужчина лет сорока пяти, в костюме, который стоил больше, чем Марк заработает за год. Лицо у него было — как лицо. Не красивое, не некрасивое, а такое, какое бывает у людей, которые привыкли, что их слушают, даже когда они говорят тихо.

— Ты курьер? — спросил помощник.

— Да, — сказал Марк.

— Принеси это по этому адресу.

Помощник протянул конверт. Конверт был плотный, белый. Марк взял конверт — и почувствовал, что тот тяжелей, чем должен быть. Не тяжелей бумаги. Тяжелей чего-то другого. Как будто в конверте лежало не то, что должно было там лежать.

— Что в конверте? — спросил Марк.

Помощник посмотрел на него. Посмотрел так, как смотрят на человека, который задал вопрос, который не должен был задавать.

— Не твоё дело, — сказал помощник.

— Тогда почему вы спрашиваете, курьер ли я? — спросил Марк. — Если не моё дело, то мне всё равно, кто я.

Помощник усмехнулся. Усмешка у него была, как у человека, который привык, что ему усмехаются в ответ, но не привык, что усмехаются так, как усмехается Марк. Не дерзко. Не почтительно. А так, как усмехаются те, кто уже понял, что разговор не получится, но хочет посмотреть, чем он закончится.

— К конверту прилагается пятьдесят тысяч за доставку, — сказал помощник. — Плюс десять тысяч за то, чтобы ты не открывал.

Марк посмотрел на конверт и шестьдесят тысяч. Аренда на два месяца. Новый телефон и передышка от долгов.

Марк открыл рот, чтобы согласиться.

И тут он заметил логотип в углу конверта. Маленький, синий, с надписью: «Внимание».

Марк видел этот логотип везде — на билбордах, в метро, на остановках, в телефонах, которые он сам держал в руках каждый день: «

Платформа, которая держит вас в курсе».

«Мы знаем, что вы хотите».

«Внимание — это валюта будущего».

Марк посмотрел на логотип. Потом на помощника, затем на камеру в углу. Камера мигала красным огоньком, как мигают те, кто хочет, чтобы все видели, что они смотрят, но не хотят, чтобы все видели, что они видят.

И Марк понял.

Не головой. Голова ещё думала о шестидесяти тысячах за одну доставку. Понял чем-то другим. Тем, что проснулось в нём после кошелька, после монеты, после велосипеда с дере-

вянными ручками. Понял: это не заказ, а приманка. Кто-то проверял. Кто-то смотрел, возьмёт ли Марк конверт. Кто-то решал, что с ним делать дальше.

— Нет, — сказал Марк.

Помощник посмотрел на него. Долго. Как смотрят на человека, который только что сказал слово, которое не должен был говорить.

— Ты понимаешь, сколько ты теряешь? — спросил помощник.

— Понимаю, — сказал Марк. — Шестьдесят тысяч.

— И ты отказываешься?

— Я не знаю, что несу, — сказал Марк. — А не зная, я не беру.

— Это глупо, — сказал помощник.

— Может быть, — сказал Марк. — Но это моё решение.

Он положил конверт на стол. Аккуратно, как кладут вещи, которые не хотят брать, но и не хотят бросать и развернулся.

— Подожди, — сказал помощник.

Марк остановился, но не обернулся.

— Ты хоть понимаешь, кто я? — спросил помощник.

— Помощник мэра, — сказал Марк. — Или не помощник, мне всё равно.

— Я могу сделать так, что ты больше не будешь работать курьером.

— Можете, — сказал Марк. — Только я всё равно не понесу.

Он вышел из кабинета. Вышел в коридор, прошёл мимо стеклянных стен, мимо мраморного пола, мимо людей в костюмах, которые смотрели на него так, как смотрят на человека, который только что сделал что-то непонятное. Сел в лифт. Лифт поехал вниз — быстро, как падают те, кто не хочет падать, но вынужден.

Марк вышел на улицу. Вдохнул. Воздух был холодный, но чистый, по сравнению с тем, что было внутри. Руки дрожали — не от страха, а от того, что могло быть. От тех шестидесяти тысяч, которые могли бы быть его, но не стали.

Он посмотрел на здание, на стеклянный параллелепипед, который блестел на солнце, как аквариум без рыб и тут он увидел.

На фасаде здания, на огромном экране, который был размером с три этажа, — логотип. Тот самый. «Внимание». И под ним — надпись, которая менялась каждые пять секунд: «Мы знаем, что вы хотите».

«Внимание — это валюта будущего».

«Не упусти свой момент».

Марк смотрел на экран и вдруг он понял, что заказ пришёл не от мэра, а от фирмы пришёл от «Внимания». От Виктора Корна. От того, чьё лицо было на всех билбордах, в новостях, в социальных сетях. От того, кто, по слухам, был богаче, чем некоторые маленькие страны, и который, по слухам же, никогда не спал, потому что сон — это потерянное внимание, а внимание — это деньги.

Марк стоял на тротуаре, с рюкзаком на плече, с дрожащими руками, и смотрел на экран, который обещал ему знать всё и думал о том, что совесть — это, оказывается, единственная валюта, курс которой никогда не падает, даже когда всё остальное давно уже обесценилось, и что, возможно, именно поэтому её так редко кто носит с собой — потому что она тяжёлая, как конверт, в котором лежит не то, что должно там лежать.

Телефон в кармане завибрировал. Марк достал. Сообщение от Димы — курьера с другого сервиса, с которым они пересекались раз пять или шесть, всегда молча, всегда на расстоянии.

«Слушай, заказ от помощника мэра — не бери. Странно платят, ты что-то знаешь?»

Марк посмотрел на сообщение. Потом на экран здания. Потом — снова на сообщение.

Он набрал ответ:

«Знаю, не бери и другим скажи, если можешь».

Отправил.

Телефон завибрировал снова.

«Ты чего? Кто платит — не важно. Пятьдесят тысяч — это пятьдесят тысяч».

Марк посмотрел на экран. На логотип «Внимание». На надпись: «Мы знаем, что вы хотите».

И понял ещё одну вещь.

Дима не знал, его коллега думал, что это просто заказ. Дима думал, что пятьдесят тысяч — это пятьдесят тысяч. Товарищ по профессии не понимал, что когда платят слишком много, то значит, ты платишь чем-то другим.

Марк набрал на телефоне сообщение и отправил:

«Позвони мне. Объясню».

И пошёл — к парковке у торгового центра «Галактика», где, он знал, Дима сейчас курил и смотрел в телефон с тем выражением, с каким смотрят в телефон люди, которые только что получили хорошую новость и теперь решают, радоваться ли им вслух или про себя.

А где-то, на двенадцатом этаже, в кабинете с видом на город, помощник мэра смотрел на конверт, который лежал на столе, и думал о том, что курьеры бывают разные, и что этот — не такой, как все, и что, возможно, именно поэтому его и выбрали. Не для того, чтобы он понёс, а для того, чтобы он отказался.

И что этот отказ — уже записан. Уже учтён, добавлен в счёт, который ведётся где-то, между небом и землёй, тремя женщинами, которые вяжут, измеряют и точат.

Офис Виктора Корна занимал весь двенадцатый этаж, и это первое, что раздражало — слишком много воздуха для одного человека. Стены стеклянные, и через них видно весь город — от центра до окраин, от крыш до труб, от людей, которые шли по делам, до людей, которые не шли ни по каким делам, потому что лежали в больницах или сидели в тюрьмах, или просто спали, и город об этом не знал.

Виктор сидел за столом. Стол большой, из чёрного дерева, и на нём не было ничего, кроме трёх мониторов, телефона и чашки с кофе. Кофе Виктор налил себе три раза за утро, и все три раза кофе остывал быстрее, чем он успевал его выпить. Виктор не пил остывший кофе. Он выливал его в раковину и наливал новый. Раковина рядом — в маленькой комнате, где стоял кофейный аппарат и где Виктор иногда стоял сам, глядя, как кофе капает в чашку, и думая о том, что кофе — единственная вещь, которая не подчиняется его расписанию.

Три монитора показывали данные. На первом — кто, когда и сколько времени смотрел в телефон. На втором — что лайкали, что покупали, что удаляли, но не до конца. На третьем — алгоритмы, которые решали, что показать человеку, чтобы он не закрыл приложение. Это было «Внимание». Платформа, которая кормила **эгрегоров**. Платформа, которая делала Виктора Корна богаче, чем некоторые маленькие страны, и которая, по слухам, никогда не спала, потому что сон — это потерянное внимание, а внимание — это деньги.

Виктор посмотрел на первый монитор. Цифры бежали по экрану, как бегут цифры, которые никто не читает, но которые все считают. Два миллиона пользователей онлайн. Три миллиона — в приложении. Пять миллионов — в соцсетях. Десять миллионов — где-то ещё, и Виктор не знал, где именно, но знал, что они там есть, и что они смотрят, и что они кормят.

Он отвернулся от монитора. Посмотрел на четвёртый — тот, что стоял в углу, на отдельном столике. На четвёртом мониторе не было цифр, на четвёртом мониторе было фото.

Фото девочки.

Девочке было восемь лет. Волосы — светлые, заплетённые в две косички, которые торчали в разные стороны, как антенны. Зубы — без одного переднего, потому что один передний зуб выпал неделю назад, и девочка очень гордилась этим, потому что теперь она могла плевать через дырку, и это было смешно, на фото девочка улыбалась — так, как улыбаются дети, которые не знают, что их будут фотографировать, и поэтому улыбаются по-настоящему.

Девочку звали Мия, она умерла восемь лет назад.

Виктор посмотрел на фото. Потом на чашку с кофе. Кофе был холодный. Виктор встал, пошёл к раковине, вылил кофе, налил новый. Вернулся. Сел. Посмотрел на фото.

И тут — увидел в углу офиса — там, где стоял шкаф с папками, — была тень, не его тень. Тень маленькой девочки. Тень Мии.

Тень стояла. Не двигалась. Не улыбалась. Просто — стояла, как стоят те, кто устал стоять, но не может сесть, потому что не знает, куда сесть.

Виктор знал, что это не его дочь. Его дочь умерла восемь лет назад. Это — эгрегор его горя. Тень, которую он кормил через «Внимание». Тень, которая держала его в аду и которую он не мог отпустить.

— Ещё день, Мия, — сказал Виктор.

Тень не ответила. Тени не отвечают — по крайней мере, те, которые кормятся чужим горем.

Виктор посмотрел на стол. На столе, рядом с телефоном, лежал рисунок. Рисунок был детский — карандашами, на бумаге, которая пожелтела от времени. На рисунке была машина. Большая, чёрная, с четырьмя колёсами и одним человеком за рулём. Человек был нарисован с большими руками и с улыбкой, которая была больше, чем нужно, потому что дети рисуют улыбки так, как будто улыбка — это самое важное, что есть у человека.

Под рисунком было написано: «Папа, я тебя люблю». И подпись: «Мия, 7 лет», дата — за день до смерти.

Виктор взял рисунок. Подержал в руках. Бумага тёплая, но не от рук, а от чего-то другого. От того, что бывает у вещей, которые кто-то часто берёт в руки. Виктор гладил рисунок — осторожно, как гладят то, что может исчезнуть.

Он помнил: Мия нарисовала его в машине. С большими руками. С улыбкой. На следующий день — авария и больше — ничего. Только этот рисунок и тень, которую он кормил.

— Ты помнишь меня, Мия? — спросил Виктор.

Тень кивнула, впервые за восемь лет.

Виктор замер. Тень кивала редко. Обычно она просто стояла и иногда — смотрела, но никогда не кивала и вот она кивнула.

Виктор встал. Подошёл к тени. Протянул руку — не коснулся. Тень была холодная. Мужчина знал: если он отпустит — тень исчезнет и он останется один. По-настоящему один, без Мии, тени и без смысла.

Он не мог, не сейчас, не никогда.

Виктор опустил руку. Посмотрел на рисунок. Потом на тень, на мониторы, которые показывали данные, которые кормили тень.

— Отец не выбирает, — сказал Виктор. — Отец платит.

Он вернулся к столу. Сел. Положил рисунок на место — рядом с телефоном. Посмотрел на мониторы. Цифры бежали по экрану. Два миллиона. Три миллиона. Пять миллионов. Десять миллионов.

Тень Мии стояла в углу и впервые за восемь лет и кивнула в ответ.

Парковка у торгового центра «Галактика» - то место, где люди теряли не только автомобили, но и остатки веры в человечество. Места здесь размечались линиями, которые никто не соблюдал, стрелками, которые никто не видел, и номерами, которые никто не запоминал.

Воздух пах бензином, горячим асфальтом и хот-догами из ларька у выезда — ларёк этот переживал все кризисы, все смены владельцев и все экономические потрясения, потому что хот-доги, в отличие от всего остального, людям нужны всегда.

Ларёк принадлежал женщине, которая никогда не улыбалась и которая, по слухам среди курьеров, знала о каждом из них всё: кто наврал в отчёте, кто плакал в туалете, кто женился и

кто развёлся, не успев как следует жениться. Сегодня она стояла за прилавком и смотрела на парковку так, как смотрят на воду: долго и без надежды.

Дима сидел на бордюре. Он курьер конкурентов — у них форма была не синяя, а салатовая, и это, по общему мнению, было хуже, чем не иметь формы вовсе. Дима сидел, курил и держал телефон так, как держат телефон те, кто ждёт от него хорошей новости, но заранее знает, что будет плохая.

— Здорово, — сказал Марк.

— Здорово, — сказал Дима, не поднимая головы.

Они пересекались пять раз. Пять раз они виделись у лифта, у турникета, у того же ларька — и пять раз молчали, потому что между курьером синим и курьером салатовым молчание держится крепче гречки присохшей к тарелке.

Сегодня Марк сел рядом. Дима покосился — с тем выражением, с каким смотрят на собаку другой породы, которая вдруг села слишком близко.

— Ты чего? — сказал Дима.

— Говорить буду.

— О, — сказал Дима. — Это плохо, если вы, синие, начинаете говорить — значит, кто-то кому-то должен.

— Никто никому не должен, — сказал Марк. — Заказ с Никитской. От помощника мэра, на шестьдесят тысяч.

Дима поднял голову.

— Ну?

— Не бери.

— Почему?

— Потому что платят подозрительно много.

— И в чём проблема? — Дима даже отодвинул сигарету. — Шестьдесят тысяч за одну доставку, это шестьдесят тысяч, Марк, это не «дар судьбы», это аренда. Ты взял?

— Нет.

— И всё?

— И всё.

Дима выдохнул так, как выдыхают люди, которым только что объяснили, что денег не существует.

— Слушай. Ты знаешь, сколько я в этом приложении висю? У меня рейтинг четыре девять. Четыре девять, Марк! Мне до пяти — вот настолько. — Он показал палец, примерно с рисинку. — За пять мне открывают премию. Премию, Марк. Я три месяца за неё держусь, как за поручень в автобусе, а ты мне говоришь: не бери шестьдесят тысяч.

— Я говорю: не бери.

— А я говорю: бери.

— Дима, там «Внимание».

— Где?

— На конверте. Синий значок.

Дима посмотрел на свой телефон. На телефоне был их салатовый логотип — такой же синий, такой же с лучиками, такой же с подписью: «Мы знаем, что вы хотите».

— Марк, — сказал Дима устало. — У нас всех «Внимание». У нас в приложении «Внимание». У меня в ушах «Внимание». Оно у всех в голове. Ты хочешь сказать, что я отказываюсь от шестидесяти тысяч потому, что у них логотип?

Марк помолчал.

Он понял вещь, которую понимают все, кто пытается кого-то остановить: что тот, кого останавливают, слышит не про опасность, а про зависть.

— Не от логотипа, — сказал Марк. — От того, что ты не знаешь, что несёшь.

— А я когда-нибудь знаю? — Дима хмыкнул. — Я вчера нёс торт, не знал кому. Не знал с чем. Торт был с кремом, с глазами и с надписью: «С юбилеем, сука». Я не открывал. Мне платили за то, что я не открываю. Мне платят за то, что я не знаю, Марк, это и есть профессионализм!

Марк посмотрел на него и тут ему стало Диму немножко жаль, не как конкурента, а как человека, который очень точно описал собственную клетку и называет это профессией.

Марк сунул руку в карман. Записка была на месте — «Катись. Г.», — и записка была тёплая, как бывают тёплыми вещи, которые кто-то недавно держал в руке.

— Ладно, — сказал Марк. — Бери.

— Вот! — Дима оживил.

— Только если что, не в приложение пиши, сразу позвони мне.

Он назвал номер. Дима записал — нехотя, с видом человека, который понимает, что ему только что предложили что-то не очень выгодное, но всё-таки записывает.

— А если ничего не будет? — спросил Дима.

— Тогда я никому ничего не должен, а если будет, то должен буду.

Телефон у Димы пикнул. Дима посмотрел — и лицо у него стало такое, каким оно бывает у людей, которым жизнь только что дала ровно то, о чём они просили, забыв предупредить, что берёт под процент.

— Взял, — сказал Дима. — Шестьдесят тысяч. Никитская. Через сорок минут.

— Поздравляю, — сказал Марк.

Он встал и пошёл к своему велосипеду с деревянными ручками, с колокольчиком, который звенел сам, без руки. Колокольчик звякнул, проезжая мимо ларька, и женщина за прилавком посмотрела Марку вслед и сказала что-то в пустоту. Марк не расслышал. Дима потом пересказывал это всем три месяца, и все три месяца никто не мог понять, было это предупреждением или соболезнованием.

Дима остался на бордюре. Докурил. Выкинул бычок в урну, не попал, и поднимать поленился, а выше, там, где кончается забор и начинается небо, — было красное. Оно не было тучей, не было закатом, потому что до заката было ещё часа четыре. Существо дышало — медленно, сыто, с удовольствием — и смотрело вниз, на парковку, на бордюр, на салатовую куртку.

Смотрело оно не на Марка, тот уже выехал, нечто любовалось Димой и улыбалось.

Марк, поворачивая за угол, вдруг понял, что не помнит, как зовут курьера.

Ну, помнит: Дима. Дима. Только вот пять минут назад его звали иначе. Марк был уверен. Он даже почти помнил, как именно, — и это «почти» сидело занозой: не больно, но если трогать — всё время.

Марк помотал головой.

— Дима, — сказал он вслух, чтобы проверить.

Слово легло на место, как будто его туда вставили.

Колокольчик звякнул. Марк поехал к следующему заказу, и тень его шла по асфальту — обычная, правильная, падающая влево, а за забором, у бордюра, сидел курьер в салатовой форме, и в телефоне у него было шестьдесят тысяч, и в голове у него было «Внимание», и не было у него никакого понимания, что выбрали его не для того, чтобы он нёс, а для того, чтобы играли.

Мастерская часовщика Арсения Ильича находилась в подвале дома, который сам по себе был старше, чем большинство стран, чьи границы сейчас можно было найти на карте. В мастерскую вели каменные ступеньки, стёртые ногами тех, кто поднимался и спускался по ним так часто, что ступеньки стали вогнутыми, как блюдца, из которых пьют шампанское на свадьбах, но не допивают.

Воздух в мастерской пах машинным маслом, старым деревом и чем-то ещё — чем-то, что пахнет, когда время останавливается, чтобы передохнуть. На стенах висели часы. Часы были

везде. Настенные, напольные, настольные, карманные. Часы с кукушкой, часы без кукушки, часы, которые куковали по-немецки, и часы, которые куковали по-французски, отчего получалось не "ку-ку", а "ку-ку-у", с протяжным "у", как будто кукушка была не птицей, а оперной дивой, которая никак не могла закончить арию.

Все часы тикали. Тикали они не в унисон — каждый тикал в своём ритме, и получалось не какофония, а скорее симфония, в которой каждый инструмент играл свою партию, но все вместе создавали что-то, что было больше, чем сумма частей.

Бог кузнецов и покровитель всех ремесел сидел в углу.

Гефест был как Гефест, если не считать того, что сегодня он был не богом, а хромым мужчиной лет сорока, в рабочей куртке медно-оранжевого цвета, с карманами, в которых что-то звенело. Лицо у него было — как лицо. Не красивое, не некрасивое, а такое, какое бывает у людей, которые много работали руками и у которых от этой работы остались не только мозоли, но и что-то в глазах, что делает глаза тёплыми, даже когда сам человек хмурится.

Гефест смотрел на часовщика.

Часовщик — Арсений Ильич, шестидесяти лет, с седыми волосами, которые стояли так, как стоят волосы у тех, кто много думает и мало спит, — сидел за столом и чинил часы. Часы были старые, с кукушкой, и кукушка в них не куковала, а молчала, как молчат те, кто устал от собственной песни. Арсений Ильич разобрал часы до винтика, протёр каждый винтик, собрал обратно и кукушка всё равно молчала.

— Ну, — сказал Арсений Ильич, не поднимая глаз. — Что ты опять тут делаешь?

— Сижу, — сказал Гефест.

— Я вижу, что сидишь. Я спрашиваю — зачем.

— Так просто.

Арсений Ильич поднял глаза. Посмотрел на Гефеста. Посмотрел так, как смотрят на человека, который приходит каждый день, не заказывает ничего, не платит, но и не мешает, и которого поэтому нельзя выгнать, хотя и нельзя понять, зачем он нужен.

— У меня нет заказов для тебя сегодня, — сказал Арсений Ильич.

— Я не за заказом.

— Тогда за чем?

Гефест пожал плечами привычным жестом, не объясняющим, и не оправдывающим. Просто — жест, который говорит: "Я не знаю, но мне так лучше".

— Чай есть? — спросил Гефест.

— Есть, — сказал Арсений Ильич. — Только чайник с трещиной.

— Ничего, — сказал Гефест. — Мне нравится чай из чайника с трещиной.

— Почему?

— Потому что он, как я.

Арсений Ильич фыркнул так, как фыркают те, кто не понял шутку, но не хочет показывать, что не понял. Встал, пошёл к старой, чугунной плите, которая стояла в углу и которая, по слухам, была старше, чем сам дом. Поставил чайник, тот свистнул — не сразу, а через минуту, как свистят те, кто сначала думает, свистеть ли, а потом решает, что да, пора.

Арсений Ильич налил чай. Достал два стакана. Один — себе. Другой — Гефесту. Поставил стакан на стол перед Гефестом — аккуратно, как ставят вещи, которые не хотят разбить.

— Сахар есть, — сказал Арсений Ильич. — Только ложкой не мешай она погнута.

— Я не буду мешать, — сказал Гефест.

Он взял стакан. Подержал в руках тёплый стакан, но не от чая, а от чего-то другого. От того, что бывает у вещей, которые долго стояли на столе, и которые кто-то часто брал в руки. Гефест отпил. Чай был крепкий, с горчинкой, и горчинка эта была — как горчинка, которая бывает у вещей, которые не притворяются.

Арсений Ильич вернулся к часам. Снова разобрал, собрал, но кукушка молчала.

— Чёрт, — сказал Арсений Ильич. — Опять не работает.

— Может, она не хочет куковать? — сказал Гефест.

— Часы должны куковать, — сказал Арсений Ильич. — Для этого их и сделали.

— А может, их сделали для того, чтобы они молчали, а кукушка, это уже потом.

Арсений Ильич внимательно посмотрел на него, потом усмехнулся.

— Ты странный, — сказал он.

— Знаю, — сказал Гефест.

Они молчали. Пили чай. Часы тикали — каждый в своём ритме. Гефест смотрел на руки Арсения Ильича. Руки были старые, с морщинами, с пятнами от масла, но двигались они так, как двигаются руки, которые знают своё дело. Двигались — и жили.

— Ты лучший в своём деле, — сказал Гефест.

Сказал тихо. Не для того, чтобы Арсений Ильич услышал, а для того, чтобы сказать. Чтобы слова вышли наружу и не остались внутри, где они давили, как давят слова, которые слишком долго держат в себе.

Арсений Ильич не услышал или сделал вид, что не услышал. Продолжил чинить часы.

— Слушай, — сказал он. — Ты хоть работаешь где-нибудь?

— Работаю, — сказал Гефест.

— Кем?

— Кузнецом.

— Кузнецом? — Арсений Ильич поднял глаза. — В смысле? В кузнице?

— В смысле делаю вещи с помощью молота на наковальне.

— Какие вещи?

— Разные. Молотки. Ключи. Двери.

— И тебе это нравится?

— Мне нравится делать вещи, которые нужны, — сказал Гефест. — А не те, которые просто красивые.

Арсений Ильич посмотрел на него, потом на часы, затем — снова на Гефеста.

— А ты знаешь, — сказал он. — Я вот думаю: может, часы — это не для того, чтобы показывать время. Может, они для того, чтобы время шло, чтобы оно не останавливалось, чтобы оно просто было.

— Может быть, — сказал Гефест. — А может, они для того, чтобы напоминать: время — не враг, а просто время и оно идёт, хотим мы этого или нет.

Арсений Ильич усмехнулся.

— Ты философ, — сказал он.

— Нет, — сказал Гефест. — Я просто кузнец.

Арсений Ильич встал и пошёл в подвал за инструментом. Гефест остался один.

Встал. Подошёл к часам на стене. К тем, которые шли назад. Часы были старые, с маятником, и маятник качался, но не слева направо, а справа налево. Как положено часам, которые устали от будущего и хотят вернуться в прошлое.

Гефест коснулся часов. Осторожно. Пальцами — как касаются тех, кого любят, но не хотят разбудить.

Часы остановились, маятник качнулся в другую сторону. Слева направо, как положено.

Гефест усмехнулся и сел обратно.

Арсений Ильич вернулся — с инструментом, с лицом, на котором было написано, что он нашёл то, что искал, но не уверен, что это поможет. Сел за стол. Посмотрел на часы на стене.

— Странно, — сказал он.

— Что? — спросил Гефест.

— Они всегда шли назад, а теперь — вперёд.

— Может, они передумали, — сказал Гефест.

— Часы не передумывают, — сказал Арсений Ильич. — Часы это механизм.

— А может, это механизм, который умеет передумывать, — сказал Гефест. — Просто мы многого не знаем в нашем мире?

Арсений Ильич пристально посмотрел на Гефеста. Потом — на часы, снова на него.

— Ты кто? — спросил Арсений Ильич.

— Кузнец, — сказал Гефест.

— Нет, — сказал Арсений Ильич. — Ты вообще кто?

Гефест молчал. Молчал так, как молчат те, кто не хочет врать, но и не может сказать правду. Потом встал.

— Пора, — сказал он.

— Подожди, — сказал Арсений Ильич. — Ты не ответил.

— Я отвечу, — сказал Гефест. — Когда смогу, а сейчас мне пора.

Он пошёл к двери. Хромая — чуть-чуть, почти незаметно, но хромая и тут — уронил ключ.

Ключ выпал из кармана. Было непонятно, Гефест его специально уронил, или ключ решил выпасть сам. Ключ катился по полу — от Гефеста к Арсению Ильичу. Ключ был маленький, медный, с бородкой, которая была сложной, как бывают сложными ключи от дверей, которые не должны открываться.

Арсений Ильич нагнулся. Поднял ключ.

— Ты обронил, — сказал он.

Гефест обернулся. Посмотрел на ключ, потом — на Арсения Ильича и не взял.

— Оставь себе, — сказал Гефест.

— Зачем? — спросил Арсений Ильич. — От чего?

— От того, что ещё не случилось, — сказал Гефест.

И вышел.

Арсений Ильич стоял с ключом в руке. Смотрел на дверь, которая закрылась. Смотрел на ключ — медный, тёплый, как будто его только что держали в руке, которая была горячее, чем должна быть. Смотрел на часы на стене — которые теперь шли вперёд.

И думал о том, что странный этот кузнец. Странный — но хороший и что ключ — тёплый, что часы — идут вперёд, как надо и что, может быть, именно поэтому.

А где-то — на крыше, в пустой мастерской, где пахло машинным маслом и деревом, — молот лежал на наковальне. Молот был маленький, но тяжёлый, на молоте была надпись: "Г."

И молот был тоже тёплый, как будто его только что использовали, как будто кто-то только что выковал что-то, не ключ или часы, а что-то, что нельзя увидеть глазами, но что можно почувствовать — если сидеть в мастерской, где пахнет маслом и деревом, и где часы, которые шли назад, вдруг пошли вперёд.

ГЛАВА 4. «ТЕПЛО»

Мастерская Арсения Ильича пахла машинным маслом, сушёной ромашкой и чем-то третьим — запахом школьной библиотеки, двадцать лет не видевшей читателя. Арсений Ильич называл это запахом времени. Марк морщил нос: пыль. Спорить не стал.

Марк стоял в дверях, держа в руках карманные часы. Цепочка запуталась — узел вещей, давно не доставанных из кармана. Марк держал часы обеими руками, бережно, раненую птицу, — выходить не знал, но очень хотел попробовать.

— Ты опять. — Арсений Ильич не поднял глаз от лупы.

— Я опять. — Марк переступил с ноги на ногу.

— В прошлый раз ты унёс велосипед. Что унесёшь в этот?

— Ничего. Принёс велик обратно.

Арсений Ильич отложил лупу. Снял очки — толстые стёкла, глаза за ними огромные, совиные, только без совиной мудрости. Мудрость Арсения Ильича жила в пальцах. Он посмотрел на часы. Потом на Марка. Снова на часы.

— Это мои часы.

— Я знаю.

— Те, которые ты сломал, забирая велосипед.

— Я знаю.

Запах времени оседал на бархатной салфетке.

— Ты их уронил?

— Я их уронил.

— На пол?

— На пол.

— Три раза?

— Два. Третий — когда цепочку подбирал.

Арсений Ильич вздохнул — вздох человека, давно переставшего удивляться устройству мира.

— И что ты хочешь?

— Починить.

— Ты?

— Я.

Старик пристально посмотрел на гостя. Усмехнулся в усы — густые, под ними пряталась любая усмешка, даже самая скептическая.

— Садись. Показываю один раз. Второй раз я слишком стар, чтобы повторять.

Марк сел на низкую табуретку. Колени оказались выше стола — вид послушного ученика, на деле — вид человека, заблудившегося в собственной одежде. Арсений Ильич положил часы на бархатную салфетку. Достал отвёртку — тонкую, иглу, с ручкой, отполированной пальцами до блеска.

Показал, как открыть крышку. Марк кивнул, взял отвёртку. Отвёртка соскользнула. Крышка отлетела в угол. Пружина выстрелила в потолок, где-то там застряла. Шестерёнки — маленькие, золотистые, зубчатые — покатились по полу, вещи, решившие уехать.

Марк замер. Арсений Ильич посмотрел на потолок. Потом на пол. Потом на Марка.

— Ну. Теперь ты точно мастер.

— Я не мастер.

— Пока не мастер. Садись на пол. Собирай.

Шестерёнки катились под шкаф, решившие уехать.

Марк сел на тёплый пол — видимо, от батарей, гревших с осени до весны, и от чего-то ещё, чего Марк понять не мог. Он собирал шестерёнки по одной. Пальцы толстые, неумелые, шестерёнки норовили укатиться под шкаф, где, судя по количеству пыли, укатывались и раньше.

И тут — Марк увидел и почувствовал. Не ушами, не глазами — рукой. Его собственная, толстая, неумелая рука легла иначе. Пальцы нашли шестерёнку, которую он уже собирался пропустить. Отвёртка пошла мягче. Крышка встала на место — щелчок вещи, нашедшей своё место.

Марк не понимал. Он просто делал. Руки делали, голова смотрела со стороны, чужая работа, которую кто-то делает за тебя. Арсений Ильич смотрел.

Он видел, как Марк двигается — и видел: что-то ведёт его руку. Не он, Арсений Ильич. Не сами часы. Что-то третье — невидимое, тёплое, хромающее. Старик не сказал ни слова. Только усмехнулся в усы — усмешка узнавшего старую шутку, которую думал, что забыл.

Часы собрались практически сами. Марк завёл их. Они тикнули — один раз, второй, третий — пошли. Ровно. Уверенно. Вперёд.

Часы пошли — тик-так, тик-так, вперёд.

Арсений Ильич взял часы. Поднёс к уху. Послушал. Кивнул.

— Работают.

— Простите, что сломал.

— Ты не мастер.

— Зато я старался.

Старик посмотрел на него — долго, достаточно долго, чтобы Марк прокрутил в голове: сейчас выгонят, отругают, попросят заплатить за пружину, до сих пор торчащую где-то на потолке.

— Это и есть мастерство.

Арсений Ильич достал из кармана ключ — медный, с бородкой, тёплый. Положил на стол рядом с часами. Марк посмотрел на ключ. Ключ посмотрел на курьера — или Марку показалось, ключ слегка подмигнул.

— Это от моего сердца.

Марк не понял. Кивнул. Встал. Отряхнул штаны. Усмехнулся — плечи опустились, воздух вышел через нос, когда тебя не выгнали, а похвалили.

Он пошёл к двери. На пороге — остановился.

— А тот хромой кузнец, что приходил. Он ваш друг?

Арсений Ильич посмотрел на часы, идущие со звуком: тик-так, тик-так.

— Больше чем друг.

— Больше кого?

— Больше, чем друг.

Марк кивнул. Не вкурил — но кивнул. Иногда кивают не для того, чтобы понять, а для того, чтобы показать: я услышал, мне этого достаточно.

Он вышел. Дверь закрылась — звук, за которым остаётся что-то важное.

Арсений Ильич сидел один. Часы тикали на столе. Тик-так. Тик-так. Вперёд. Старик достал из кармана ключ — медный, с бородкой, тёплый. Тот самый, который хромой кузнец оставил ему неделю назад. Положил ключ рядом с часами и думал о том, что странные нынче кузнецы. Странные — но хорошие. И что часы идут вперёд. И что, может быть, именно поэтому.

Ключ остывал в ладони старого мастера.

Галерея «Серебряная пластина» помещалась в старом особняке на Пречистенке, пережившем трёх владельцев, две революции, одного архитектора-самозванца, перестроившего камин так, что тот дымил в гостиную, а не в трубу. Хозяин, человек с бородой, растущей боро-

дой тех, кто хочет слыть художником, называл дым частью экспозиции. Посетители называли дым частью своей жизни, выходя на улицу кашлять.

Лена стояла перед большой фотографией в чёрной раме: мост через Москву-реку, краснеющий каждый вечер от заката, хотя закатов в октябре не больше, чем честных людей в очереди за айфонами. Она смотрела на мост, не видя моста. Она видела тень, падавшую не туда, куда ей полагалось падать, жившую своей жизнью.

Марк вошёл в четыре часа двенадцать минут. Лена знала это, взглянув на часы над входом, постукивавшие, отставшие на семь минут, — ей всегда было важно знать точное время, когда пальцы начинают холодеть.

Марк увидел Лену. Лена увидела Марка. Оба замерли — узнавание людей, встречавшихся прежде во сне, в тени, в чём-то, чему не подбирается слова.

Он подошёл, остановился на расстоянии локтя, почувствовав холодок лака на раме под ладонью.

— Можно?

— Можно.

Он встал рядом. Мост. Закат. Тень.

— Красиво.

— Да.

— Это ты снимала?

— Я.

— А тень?

Лена посмотрела на него — быстро, отвела взгляд, поправила ремень сумки на плече.

— Тень?

— Ну, от моста. Она не там, где должна быть.

Лена молчала, разглядывая паркет, потом произнесла тихо, почти не разжимая губ:

— Ты видишь?

— Вижу. Не знаю чем, но вижу.

Тень падала не туда, куда должна.

Молчание длилось, посетители шаркали по паркету, переходя от фотографии к фотографии, за стеной потрескивал дымный камин, пахнущий сырой золой.

— А ты кто?

— Курьер. Просто курьер.

Он лгал. Лена знала это не от проницательности: пальцы, державшие ремень рюкзака, сжались, а пальцы не умеют врать.

— А я просто фотограф.

Она тоже лгала. Марк знал это не от проницательности: она посмотрела на него, отвела взгляд, а взгляд тоже не умеет врать.

Они молчали. Мост. Закат. Тень.

— Я... — Лена остановилась, провела ногтем по шву ремня.

Марк подождал, глядя на её руку.

— Я что?

— Ничего. Я хотела сказать... ну, я думала...

Она замолчала, посмотрела на фотографию, потом на свои руки, державшие ремень сумки слишком крепко, до белых полос на костяшках.

— Говори.

— Нет. Не сейчас, не здесь.

— Почему?

— Потому что не знаю слов. Я вижу вещи, которых не должно быть. Я думала, что одна, а потом увидела тебя — ты тоже видишь.

Марк долго смотрел на неё, переступив на тёплую половицу, скрипнувшую под подошвой.

— Что ты видишь?

Лена открыла рот, закрыла, открыла снова.

— Тени. Тени не там, где должны быть. Другие.

— Я тоже.

Она посмотрела на него, потом на фотографию, снова на него.

— Ты... ты не боишься?

— Чего?

— Того, что это не просто тени. Что это другое.

Марк молчал, разглядывая её руки, её глаза, не отводящие взгляда.

— Боюсь.

— А я...

Пальцы не умеют врать. Взгляд — тоже.

Марк повернул голову — случайно, не нарочно — к зеркалу в старой раме, с позолотой, облезшей позолотой всего, что держится слишком долго. В стекле отражалась галерея: фотографии, посетители, Лена, он сам, а за её спиной стояла тень.

Розовая — не яркая, не нежная, усталый лак на ногтях, который носили три недели, не перекрашивая. С трещинами. Тень смотрела не на Лену, а сквозь неё, на что-то за её спиной, чего в галерее не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.